Журавли над Великой

Александр Камянчук



Александр Камянчук

Журавли над Великой

«Автор»
2026

Камянчук А. В.

Журавли над Великой / А. В. Камянчук — «Автор», 2026

Перед вами — собрание биографических очерков. Это научно-популярное и просветительское издание, созданное для всех, кто дорожит культурой Псковского края. Книга не преследует коммерческих целей — её главная задача в том, чтобы спасти эти имена от забвения.От составителя. Издание готовится к печати. Буду благодарен читателям и краеведам за любые уточнения и замечания по тексту, которые можно оставить в отзывах.Р.1112

© Камянчук А. В., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Предисловие 5
Глава 1. Евфросин Псковский (ок. 1386–1481) 7
Глава 2. Филофей Псковский (ок. 1465–1542) 11
Глава 3. Ермолай-Еразм (1500-е – ок. 1560) 16
Глава 4. Василий-Варлаам (ок. 1505 – после 1565) 20
Глава 5. Феофан Прокопович (1681–1736) 23
Глава 6. Татищев Василий Никитич (1686–1750) 29
Глава 7. Теплов Григорий Николаевич (1717–1779) 31
Глава 8. Княжнин Яков Борисович (1740–1791) 34
Глава 9. Фонвизин Денис Иванович (1745–1792) 37
Глава 10. Болотов Андрей Тимофеевич (1738–1833) 40
Глава 11. Болховитинов Евфимий Алексеевич (митрополит Евгений) (1767–1837) 43
Глава 12. Булгарин Фаддей Венедиктович (1789–1859) 46
Глава 13. Дружинин Александр Васильевич (1824–1864) 49
Глава 14. Креницын Александр Николаевич (1801–1865) 53
Глава 15. Петров Александр Дмитриевич (1794–1867) 56
Глава 16. Великопольский (Ивельев) Иван Ермолаевич (1797–1868) 59
Глава 17. Вульф Алексей Николаевич (1805–1881) 62
Глава 18. Ткачёв Пётр Никитич (1844–1886) 65
Глава 19. Корвин-Круковская (Жаклар) Анна Васильевна (1843–1887) 68
Глава 20. Яхонтов Александр Николаевич (1820–1890) 70
Глава 21. Ковалевская Софья Васильевна (1850–1891) 73
Глава 22. Семевский Михаил Иванович (1837–1892) 76
Глава 23. Жемчужников Александр Михайлович (1826–1896) 79
Глава 24. Модзалевский Лев Николаевич (1837–1896) 82
Глава 25. Лавров Пётр Лаврович (1823–1900) 85
Глава 26. Пушкарев Николай Лукич (1841–1906) 88
Глава 27. Анненская (Ткачева) Александра Никитична (1840–1915) 91
Глава 28. Муйжель Виктор Васильевич (1880–1924) 94
Глава 29. Ян Райнис (Янис Плиекшанс) (1865–1929) 97
Глава 30. Анненкова-Бернар Нина Павловна (1859–1933) 100
Глава 31. Зоргенфрей Вильгельм Александрович (1882–1938) 103
Глава 32. Семенов Борис Константинович (1894–1942) 106
Конец ознакомительного фрагмента. 107

Александр Камянчук
Журавли над Великой

Предисловие

Псков — пространство, где история не застыла в прошлом, а продолжается в настоящем. С тех давних времён, когда древний град нарекли «Домом Святой Троицы», эта земля взращивала людей поразительной стойкости. От летописных сказаний до завещания Пушкина быть упокоенным у алтаря Святогорского монастыря — литературная карта Псковщины всегда была особой, многослойной.

Но история литературы — это не только классики, знакомые нам по школьной программе. Это непрерывная цепь имён: писателей и поэтов, которые ходили по тем же улицам, что и мы, дышали одним речным ветром и делили с городом общую эпоху. Для одних Псковщина стала местом старта в большую литературу, для других — спасительным прибежищем от столичных бурь, для третьих — территорией суровых испытаний.

Век двадцатый безжалостно проверял их на прочность. В этой книге соседствуют авторы, чьи миры кардинально отличались друг от друга. Здесь теоретики революции стоят бок о бок с тайными монахинями, создатели академических словарей — с поэтами самиздата, а боевые комиссары — с авторами добрых детских сказок.

Вы прочтёте об Александре Яхонтове, который мальчишкой, по семейному преданию, читал стихи Пушкину, и о Маргарите Ямщиковой (Ал. Алтаев), пробивавшей женщинам дорогу в литературу сквозь косность девятнадцатого столетия. Многие из них прошли через испытания, которые нам сегодня трудно представить. Семнадцатилетняя Елена Николаева выносила на себе раненых бойцов из-под огня. Гвардии подполковник Евгений Нечаев оставил надпись углём на Рейхстаге и поклялся сохранить в слове память о погибших товарищах. Подросток Лев Маляков ушёл в партизанский отряд и через всю жизнь пронёс боль сожжённых деревень.

Здесь вы встретите утончённую Тамару Воинову, искавшую правду в заброшенных псковских сёлах; мятежного Сергея Довлатова, разглядевшего в Пушкиногорье трагикомический слепок всей страны; поэта Александра Гусева с его тихой, проникновенной лирикой. Увидите Евгения Афанасьева, который после нацистских концлагерей надел колючие доспехи сатирика, чтобы защитить ранимую душу, и энциклопедиста Валентина Краснопевцева, учившего нас любить русский язык.

На этих страницах вас ждут неожиданные открытия. Вы узнаете, что автором знаменитого «Президента Каменного острова», которым зачитывались миллионы советских подростков, был великолучанин Вильям Козлов. Вы прочтёте о Савве Ямщикове — легендарном реставраторе и спасителе русской иконы, нашедшем свой вечный покой на Тригорском холме. И, возможно, для многих станет откровением история псковича Михаила Минина — того самого бойца, чьи руки в апреле сорок пятого года первыми установили красное знамя над куполом берлинского Рейхстага.

Почему книга называется «Журавли над Великой»? В нашей культуре журавлиный клин — символ тех, кто ушёл, но оставил на земле светлую память. Этих людей больше нет на улицах Пскова, но их голоса живы. Стоит лишь открыть книгу.

Перед вами — собрание биографических очерков. Это научно-популярное и просветительское издание, созданное для всех, кто дорожит культурой Псковского края. Книга не преследует коммерческих целей — её главная задача в том, чтобы спасти эти имена от забвения.

Поскольку о деятелях далёкого прошлого сохранилось мало документов, в первой половине книги автор использует жанр художественной реконструкции: воссоздаёт бытовые сцены и диалоги на основе известных исторических фактов. Такие фрагменты специально помечены в тексте. Однако чем ближе повествование подходит к новейшему времени, тем строже становится его тон. В главах о людях XX века художественный вымысел уступает место чистому документальному монтажу: здесь говорят только подлинные цитаты, дневники и письма. Мы сознательно отказались от реконструкций там, где ещё жива историческая память.

Аналогично устроены и иллюстрации: это цифровые художественные портреты, созданные на основе архивных описаний, а также сотни старых фотографий, бережно отреставрированных и подготовленных к печати. Их цель — помочь вам наглядно представить ушедшую эпоху и облик её героев.

При подготовке книги автор использовал технологии искусственного интеллекта — как вспомогательный инструмент для сопоставления разрозненных сведений, сверки хронологии, распознавания, цифровой обработки и реставрации нескольких тысяч архивных снимков и документов, а также предварительной литературной редактуры. При этом подбор источников, проверка фактов и смысловое наполнение каждого очерка оставались полностью за человеком.

Эта рукопись не состоялась бы без труда архивистов, краеведов и библиографов. Фактологической основой очерков стали материалы Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова (и её электронного архива «Псковиана»), Государственного архива Псковской области, а также воспоминания коллег и семей авторов. Подробный список источников ждёт вас в конце издания.

Листая эти страницы, вы прикоснётесь к судьбам тех, кто отдал псковской культуре своё сердце, и почувствуете ту искреннюю веру в человека, которой пронизано их творчество.

Доброй дороги по страницам памяти!

Глава 1. Евфросин Псковский (ок. 1386–1481)



У каждой великой реки есть свой сокровенный исток — неприметный родник, из которого рождается могучее течение. Для литературы Псковской земли таким живым истоком стало творчество человека, чье имя по праву открывает нашу антологию. Задолго до того, как на берегах реки Великой зазвучали стихи светских поэтов и романы классиков девятнадцатого века, в глухих псковских лесах зародилась монументальная русская мысль. Ее первопроходцем, абсолютным патриархом псковской словесности стал Евфросин — монах, книжник, основатель обители и, как мы попробуем показать в этой главе, один из наиболее самобытных умов своего времени.

Его биография неотделима от истории страны. Он родился около 1386 года — в десятилетие, когда Русь медленно восстанавливалась после Куликовской битвы. Скончался он в 1481-м — дожив почти до девяноста пяти лет, вместив в свою долгую жизнь падение Константинополя, стояние на Угре и окончательное освобождение от ордынской зависимости. Сама судьба дала ему время увидеть рассвет новой эпохи.

О мирской жизни Евфросина известно немного. Его житие, составленное книжником Василием-Варлаамом спустя несколько десятилетий после смерти преподобного, скупо на биографические подробности — это характерно для агиографического жанра, где земное существование святого ценно лишь как путь к небесному служению. И всё же ключевые вехи истории до нас дошли.

Будущий подвижник, носивший в миру имя Елеазар, провёл детские годы и сделал первые шаги в селе Виделебье под Псковом. Его отец был священником, что в средневековой Руси гарантировало высокий уровень грамотности: книга, церковное пение, письменное слово окружали мальчика с детства. При постриге он принял имя Евфросин — в честь преподобного Евфросина Александрийского, чья история о сокрытом духовном подвиге была ему близка.

Молодым человеком он пришел в Псков и поступил в Снетогорский монастырь — один из древнейших центров псковской культуры. Здесь, в богатой монастырской библиотеке, формировалось его мышление. В Снетогорской обители он научился глубокой работе с текстом, восприятию написанного слова как живой основы веры и знания.

Однако монастырские стены стали для него лишь школой. Настоящее призвание влекло мыслителя к безмолвию и уединению — к пустынножительству.

Около 1425 года Евфросин ушел в леса на берег реки Толбы и основал там небольшую пустынь. Место было выбрано безошибочно: уединенное, суровое, но пригодное для жизни. Река, глухой бор, песчаный холм — и тишина, позволяющая сосредоточиться на созерцании.

Пустынь постепенно разрасталась. К Евфросину потянулись ученики, и со временем здесь сложился Спасо-Елеазаровский монастырь, названный в память о мирском имени самого

основателя. Сам Евфросин долго отказывался от священнического сана и игуменства, предпочитая оставаться простым иноком. В этом смирении перед формальной иерархией при огромном духовном авторитете кроется ключ к пониманию его личности.

Монастырь на Толбе стал крупным культурным и интеллектуальным центром Псковской земли. Здесь переписывались книги, велись богословские дискуссии, формировалась уникальная книжная среда. Евфросин собрал вокруг себя думающих людей, способных выйти за рамки механического копирования чужих текстов.

Литературное наследие Евфросина Псковского невелико по объему, но фундаментально по значению. До нас дошли его послания, правила и пометки на полях рукописей — маргиналии, по которым сегодня можно восстановить ход мысли средневекового читателя. Главным трудом всей его жизни, закрепившим за ним место в истории русской словесности, стало «Сказание об аллилуии» — один из самых удивительных полемических памятников Древней Руси.

Суть богослужебного спора, в который включился Евфросин, современному человеку может показаться сугубо техническим, даже курьёзным вопросом: сколько раз следует произносить «аллилуйя» — дважды (сугубая) или трижды (трегубая)? Здесь важно избежать ошибки презентизма — оценки прошлого по критериям настоящего.

Для XV века богослужение являлось смысловым центром бытия. Вопрос о правильности обряда был вопросом о спасении души и верности традиции. Какая практика подлиннее — древняя или новая? Кто хранит истину — греки или русские, Москва или Псков? И главное: как относиться к авторитету священного текста?

В ответах на эти вопросы Евфросин Псковский проявил себя как мыслитель Нового времени.

Его трактат написан в классической манере средневековой полемики. Автор опирается на греческие, славянские и латинские источники, цитирует отцов церкви, анализирует богослужебные уставы. Но за академической эрудицией скрывается живая мысль. Евфросин не просто подбирает цитаты ради заранее принятого вывода — он сомневается, анализирует и честно признает сложность проблемы там, где другие полемисты предпочли бы категоричность.

Евфросин защищал сугубую (двукратную) аллилуйю как исконную, аутентичную псковскую практику. Он доказывал, что именно эта традиция восходит к крещению Руси, а троекратное произнесение — позднее греческое нововведение. Чтобы обосновать этот тезис, он провел детальное текстологическое расследование: разыскивал древние пергаменты, сопоставлял списки и выстраивал аргументацию с той методической точностью, которая позволяет назвать его первым русским текстологом.

Спор этот тянулся десятилетиями. Официальная церковная позиция Москвы, опирающаяся на авторитет греческой практики, не принимала аргументов Евфросина. Но он не отступал: писал послания, дискутировал с иерархами, искал единомышленников. В этом упорстве не было гордыни или упрямства ради упрямства — проявлялась независимость духа, ставшая со временем отличительной чертой псковской культуры.

Нельзя понять Евфросина в отрыве от исторического контекста. XV век стал для Пскова временем нарастающего политического давления. Вольный торговый город, «младший брат» Новгорода, постепенно втягивался в орбиту московской централизации. В 1510 году, уже после смерти Евфросина, Псков окончательно потеряет самостоятельность. Но процесс поглощения шёл долго, и современники мыслителя отчетливо чувствовали его необратимость.

В таких условиях полемика об аллилуии приобретает измерение, выходящее далеко за пределы церковного устава. Настаивая на аутентичности псковского обряда, Евфросин отстаивал право малой земли сохранять свою идентичность перед лицом унифицирующей государственной воли. Он выступал консерватором в самом высоком смысле слова: защищал не застой, а живое многообразие исторически сложившихся форм духовной жизни.

Это не значит, что его позиция была безупречной с точки зрения современной науки. Позднейшие исследования показали, что аргументация Евфросина местами опиралась на недостоверные источники, а противопоставление «псковской» и «греческой» практик во многом являлось искусственным. Однако величие мыслителя определяется не безошибочностью в конкретном споре. Его определяют честность поиска, глубина вопрошания, и готовность нести личную ответственность за написанное слово.

В последние десятилетия жизни вокруг Евфросина собрались ученики и преемники. К старцу за благословением приходил преподобный Савва Крыпецкий, основавший позже собственную обитель. Спустя годы этот же монастырский дух взрастит выдающегося книжника Василия-Варлаама, который бережно записал предания свидетелей и составил житие святого. Такая преемственность характерна для псковского монашества XV–XVI веков: учителя воспитывали учеников, монастыри порождали новые обители, покрывая край сетью живой духовной традиции.

Помимо богословских трудов, Евфросин оставил важнейший документ — монастырский устав, созданный им в 50–60-е годы XV века. Ему предшествует краткая автобиография, что является редчайшим случаем для средневековой Руси. Около тридцати глав документа регламентируют самые разные стороны монастырского общежития: от глав «О злате и серебре» и «О странноприимстве» до бытовых «О ястии и питии» и «О бане». Этот текст подтверждает исключительную начитанность Евфросина, его умение мыслить системно и стремление создать продуманный уклад общины.

Евфросин сохранял ясный ум до самых последних дней 1481 года, когда настало время прощаться с братией, что современники сочли знаком особой благодати. Его погребли в основанной им обители, а канонизация состоялась в 1547 году на Церковном соборе, прославившем целый ряд русских святых.

Открывая этой главой антологию, мы утверждаем несколько принципиальных положений.

Древнерусское книжное слово не знало деления на «художественное» и «документальное». Богословский трактат, житие, летопись или послание — все это формы словесного искусства. Они требовали высочайшего мастерства, несли эстетическую ценность и были обращены к человеку, способному чувствовать красоту и силу языка. Поэтому Евфросин Псковский стоит в одном ряду с поэтами и прозаиками позднейших веков как полноправный участник единого литературного процесса.

Псковская словесность с самого начала обрела свое лицо. Самостоятельность суждений, готовность спорить с авторитетами ради истины, сочетание верности традициям с интеллектуальной смелостью — эти качества, ярко выраженные у Евфросина, станут сквозными для авторов нашей книги.

Великая литература рождается не только в столицах. История знает множество примеров того, как провинция — в самом достойном значении этого слова, как место глубокой укорененности в родной земле, — давала миру более мощные и оригинальные голоса, чем признанные культурные центры. Псков — именно такая земля. И Евфросин — первый, кто дал ей голос.



Илл. 1. Преподобный Евфросин Псковский. Цифровая художественная реконструкция образа святого затворника, автора общежительного устава и интерьера известняковой монастырской кельи в Спасо-Елеазаровской пустыни (XV в.). Создана на основе канонических житийных описаний и памятников древнерусской псковской иконописи из церковно-археологических фондов.

Глава 2. Филофей Псковский (ок. 1465–1542)



Традиция, заложенная преподобным Евфросином в Спасо-Елеазаровом монастыре, быстро принесла плоды. Фигура инока Филофея вывела псковскую книжность на общегосударственный и мировой уровень. Воспитанный в строгих правилах елеазаровского устава, он стал величайшим мыслителем эпохи, чьё перо оказало глубокое влияние на ход русской истории.

Время скрыло точные детали биографии этого человека — личность мыслителя почти целиком растворилась в его идеях. Мы не знаем, где находилась его колыбель, кем были его родители и при каких обстоятельствах он принял постриг. Даже хронологические рамки его пребывания на земле — около 1465–1542 — установлены лишь приблизительно по косвенным свидетельствам. Филофей стал голосом эпохи, оставив потомкам не жизнеописание, а грандконцепцию, остающуюся живой по сей день.

Спасо-Елеазаров монастырь к началу XVI века превратился в подлинный интеллектуальный центр. Книжность здесь понималась как служение, а переписывание рукописей считалось делом священным. В обители складывалась особая культура мышления: инок учился не просто воспроизводить авторитетные тексты, но искать в них ответы на насущные вопросы своего времени.

Конец XV и начало XVI века — эпоха коренных изменений в христианском мире. В 1453 году пал Константинополь. Второй Рим, тысячелетняя твердыня православия, был захвачен османами, а Святая София обратилась в мечеть. Это событие потрясло общество не только политически, но и духовно. Если империя ромеев, хранительница истинной веры, пала под ударами неверных, — кто наследует миссию Константинополя? Где теперь находится центр православного мира? В атмосфере этих напряжённых ожиданий в монастырской тишине и зрела мысль Филофея.

Среди адресатов его посланий особое место занимает Михаил Григорьевич Мисюрь Мунехин — псковский великокняжеский дьяк, человек образованный и влиятельный. К нему старец обратился с посланием «О неблагоприятных днях и часах», написанным в 1523–1524 годах. Мисюрь привёз в монастырь книгу немецкого астролога и врача Николая Булева «Альманах», только что переведённую на русский язык и содержавшую предсказания конца света, и просил старца дать ей оценку.

Тон послания свидетельствует о доверительных отношениях между ними. На основе известных исторических обстоятельств можно воссоздать их возможную встречу.

В ворота Спасо-Елеазарова монастыря въехал псковский дьяк Мисюрь Мунехин. Оставив коня послушнику, он направился к келье старца Филофея, держа под мышкой тяжёлый свёрток — рукопись, от которой в последние месяцы не было покоя ни в Пскове, ни в Москве.

Филофей встретил гостя у порога. Старец был невысок, сух, с проницательным взглядом книжника, привыкшего работать с текстами.

— Мир тебе, Михаил Григорьевич, — негромко произнёс Филофей. — Издалека ли путь держал?

— Из города, отче, — Мисюрь поклонился и прошёл в келью. Здесь на столе лежали развёрнутые рукописи, горела восковая свеча. Запах пергамена и ладана смешивался с сыростью. — Привёз тебе книгу. Некий немчин, Николай Булев зовут, перевёл её на русский. Называют её «Альманахом». Говорят, там о конце света написано. Люди в городе встревожены. Одни верят, другие смеются. А я не знаю, что и думать.

Филофей взял свёрток, медленно развернул его и пробежал глазами первые строки. Лицо его оставалось бесстрастным, но губы чуть дрогнули.

— Астрология, — тихо проговорил старец. — Опять астрология. Михаил Григорьевич, скажи мне: ты сам веришь в то, что звёзды управляют судьбами царств?

Мисюрь замялся. Он был человеком практического ума, государственным служащим, привыкшим к документам и расчётам.

— Не знаю, отче. Но Булев — человек учёный. Он врач, служит при дворе, знает языки, читал философов. И говорят, многие его предсказания сбылись. Как мне отличить правду от лжи?

Филофей отложил рукопись и сел на низкую скамью, приглашая жестом Мисюря последовать его примеру.

— Михаил Григорьевич, послушай меня. Звёзды — не живые существа. Это просто невещественный огонь, сотворённый Богом в первый день. Они не видят, не слышат, не думают. Они бесчувственны и мертвы. Как же мёртвое может управлять живым?

— Но ведь они движутся по небу, — возразил Мисюрь. — И движение их упорячено. Разве это не знак того, что в них заключена сила?

— Движутся они не сами, — терпеливо пояснил Филофей. — Ангельские силы, неведомые нам, несут их, как слуги несут светильники. Те солнце носят, другие — луну, иные — звёзды. Те управляют воздухом, ветрами, облаками, громами. Кто от земли воды возносит облаком, а кто направляет лики земли на произрастание плодов — на весну и лето, на осень и зиму. Всё это — для человека, Михаил Григорьевич. Не звёзды нам служат, а Бог через Своих ангелов.

Мисюрь задумался, глядя на пламя свечи.

— Но если так, отче, то что же с царствами? Почему одни возвышаются, а другие падают? Разве не звёзды указывают на это?

Филофей покачал головой.

— Что касается разрушения царств и стран — не от звёзд оно происходит, но от всё дающего Бога. Царства падают не потому, что какая-то планета вошла в неблагоприятное сочетание, а потому, что народы отступают от истины. Вспомни: первый Рим пал, ибо впал в ересь. Второй Рим, Константинополь, был попущен туркам, ибо предал православие на Флорентийском соборе. А третий Рим — наше царство, Московское — стоит. И стоять будет, доколе не отступим от веры.

— Третий Рим... — Мисюрь произнёс эти слова медленно, словно взвешивая их. — Я слышал, отче, что ты пишешь об этом в своих посланиях. Говорят, ты называешь Москву последним православным царством.

— Не я называю, Михаил Григорьевич. Сама история называет. Два Рима падоша, а третий стоит, а четвёртому не быти. Это не гордыня наша, но ответственность. Если мы не сохраним веру, то и наше царство падёт — и тогда уже некому будет её хранить. Вот почему я и пишу государю, и тебе пишу: не верьте звездочётцам. Не ищите в небесных

светилах указаний на будущее. Будущее — в руках Божиих. А нам дано одно: хранить веру и жить по совести.

Мисюрь встал, низко поклонился старцу.

— Благодарю тебя, отче. Ты утвердил меня в том, в чём сомневался. Я передам твои слова тем, кто встревожен предсказаниями Булева.

Филофей тоже поднялся, положил руку на плечо дьяка.

— Иди с миром, Михаил Григорьевич. И помни: не звёзды движут миром, а Промысл Божий. А мы с тобой — лишь исполнители Его воли.

Мисюрь вышел из кельи. За окном сгущались сумерки, и над монастырём, над тихой Толбой, над псковскими лесами уже загорались первые звёзды. (прим. 1)

В знаменитом «Послании о неблагоприятных днях и часах» Филофей решительно опроверг астрологию Николая Булева и впервые ясно сформулировал концепцию «Москва — Третий Рим». Именно это сочинение стало самым распространённым из всех его трудов.

Филофей выступает против астрологии решительно и поэтично одновременно. «Что касается разрушения царств и стран — не от звёзд оно происходит, но от всё дающего Бога», — пишет он. Звёзды для него не живые существа, а «просто невещественного огня суть, в первый день Богом сотворённая». Но далее Филофей создаёт поразительную картину деятельного мироздания, полного разумного созидания: «Не сами те звёзды движутся, ибо бесчувственны, и мертвы, и ничего не видят... но ангельскими неведомыми силами... непрестанно они трудятся для человека: те солнце носят, другие луну, иные звёзды, те управляют воздухом, ветрами, облаками, громами, кто от земли воды возносит облаком, и лики земли направляют ангелы на произрастание плодов, на весну и на лето, на осень и зиму». Неустанная деятельность ангелов направлена на благо человека, она — пример того, какой деятельной жизнью должен жить и сам человек.

«Два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвёртому не быти» — эти слова, быть может, самые знаменитые из всего написанного на Руси в ту эпоху, были произнесены старцем из псковского монастыря. В них — вся суть концепции «Москва — Третий Рим».

Логика Филофея разворачивается с ясностью, достойной богослова и историософа одновременно. Первый Рим рухнул под тяжестью еретических заблуждений (Филофей утверждал в своих посланиях, что Рим впал в так называемую Аполлинариеву ересь). Второй Рим — Константинополь — был попущен Богом туркам за унию с католиками, заключённую на Флорентийском соборе 1439 года: православные иерархи предали чистоту веры ради политических выгод, и Господь отвернулся от них. Третий же Рим — Москва — стоит. Православное царство русских государей приняло на себя священную миссию хранения истинной веры, стало последним оплотом христианства в мире. И этому третьему Риму не будет замены — четвёртому не быти.

Важно понять, что Филофей мыслит не в категориях политической пропаганды — хотя его идея и была впоследствии использована именно в этом качестве. Его концепция — это прежде всего богословие истории, попытка осмыслить судьбы мира в свете христианской эсхатологии. Старец задаётся вопросом: как Бог ведёт историю? Как через падения и возвышения государств осуществляется Промысл Божий о спасении человечества?

В этом смысле Филофей — прямой наследник великой традиции христианской историософии, восходящей к блаженному Августину с его «Градом Божиим». Как Августин осмыслял падение Западного Рима как Промысл, открывающий путь к Граду Небесному, так и Филофей видит в гибели земных империй не трагедию, но урок — и одновременно призыв к тому, кто принял священное наследство.

Характерно, что интонация Филофея при этом отнюдь не триумфальна. Провозглашая величие Третьего Рима, он напоминает: это величие — не награда, но ответственность. Государю, хранящему православную веру, следует помнить о бремени своего призвания. Нрав-

ственные увещевания, рассыпанные по посланиям Филофея, свидетельствуют: для него «Третий Рим» — не повод для национальной гордости, но основание для требовательности к самим себе.

Филофей писал из Пскова — города, который в его время переживал болезненное включение в состав Московского государства. В 1510 году Псков лишился самостоятельности, псковское вече было упразднено, сотни псковских семей были насильственно переселены. Для псковичей это было настоящей травмой.

И вот — старец из псковского монастыря обращается к московскому государю с посланием, в котором возлагает на него колоссальную духовную ответственность. Здесь нет ни подобострастия, ни провинциальной робости. Есть голос пророка, говорящего власти правду — правду о её миссии и о её обязанностях перед Богом и историей. Это подтверждает ту духовную свободу, которую давала монастырская традиция Спасо-Елеазаровой обители.

История восприятия концепции «Москва — Третий Рим» — отдельная и увлекательная тема. В XVI веке эта идея питала духовное самосознание Московского царства, а в 1589 году, при учреждении патриаршества, она впервые вошла в официальные государственные документы, став зримым фундаментом русской церковной независимости. В XVII веке концепция питала и церковную реформу, и старообрядческое сопротивление ей — причём обе стороны апеллировали к идее особой священной миссии России. В XIX веке она вошла в кровь русского национального самосознания, отозвавшись в славянофильстве, в панславизме, в мессианских идеях русской религиозной философии.

В XX веке идеи Филофея переживали причудливые метаморфозы. Советская власть отвергла религиозное содержание — но мессианское самосознание, представление об особой миссии России (пусть теперь и переосмысленной в секулярных категориях «мировой революции» или «социализма как маяка для человечества») сохранялось, лишь меняя язык выражения. Исследователи не раз указывали на структурное сходство советского мессианизма с религиозным мессианизмом — и корни этого сходства уходят в том числе к посланиям псковского инока.

Было бы неверно сводить фигуру Филофея лишь к одной идее. Его послания свидетельствуют о человеке широкой образованности, знакомом как с православной патристикой, так и с современными ему богословскими спорами. Он полемизирует с астрологией — и в этой полемике обнаруживает не просто благочестивое отвержение суеверия, но продуманную позицию относительно свободы человеческой воли и Промысла Божия. Он рассуждает об устройстве церкви — и в этих рассуждениях видна озабоченность конкретными проблемами церковной жизни своего времени.

Перед нами — человек, глубоко погружённый в реальность своей эпохи, остро чувствующий её проблемы и ищущий на них ответы в свете вечных истин. Это сочетание укоренённости в традиции и чуткости к современности и делает его мысль живой, действенной, исторически значимой.

Из псковского монастыря, из тишины монашеской кельи — в большую историю. Таков был путь идеи Филофея. Великие исторические концепции нередко рождаются не в столицах и не во дворцах, но там, где человек наедине с книгой и молитвой решается задать самые большие вопросы. Псковская книжная традиция, взращённая преподобным Евфросином, принесла свой самый зрелый плод — и этот плод оказался поистине историческим.



Илл. 2. Старец Филофей Псковский. Цифровая художественная реконструкция образа церковного мыслителя, публициста и интерьера монастырской кельи в Спасо-Елеазаровской пустыни (XVI в.). Создана на основе исторических описаний и памятников древнерусской письменности из церковно-исторических архивных фондов.

Глава 3. Ермолай-Еразм (1500-е – ок. 1560)



В истории отечественной словесности существуют авторы, чьи имена неотделимы от понятия творческой независимости, а их идеи опередили своё время на столетия вперёд. В русскую культуру этот мыслитель вошёл под двумя именами — как приходской священник Ермолай, именовавший себя «Прегрешным», и как строгий инок Еразм. Он стал подлинным первопроходцем независимой публицистики, доказав, что псковская земля была колыбелью смелого, глубоко гуманистического и бескомпромиссного слова.

Жизненный путь книжника окутан исторической тайной, но главный период его ранней биографии неразрывно связан с древним Псковом. Именно здесь, служа приходским священником в 1540-е годы, Ермолай сформировался как зрелый писатель и богослов. Пока он служил на берегах Великой, из-под его пера вышли первые известные религиозно-философские труды — пояснения к святцам «Зрячая Пасхалия» и «Послание кир Софронию», принёсшие ему широкое признание в кругах образованных людей той эпохи.

В 1547 году в Пскове произошло событие, изменившее судьбу иерея: город посетил молодой царь Иван IV (Грозный). В это время Ермолай сблизился с видным духовным лицом — кир Софронием (почтительный титул «кир» означал «господин» или «владыка»). Поражённый глубиной мышления псковского священника, Софроний ввёл его в круг московской интеллектуальной элиты. Вскоре Ермолай получил вызов в столицу, заняв место священника при великокняжеском дворе в Кремле и войдя в окружение митрополита Макария, где участвовал в создании агиографических текстов для грандиозного свода Великих Четьих-Миней.

Настоящая свобода творчества Ермолая-Еразма проявилась в его способности ломать устоявшиеся каноны. Получив от митрополита Макария официальный церковный заказ на составление жития муромских чудотворцев, высокообразованный богослов создал не сухой агиографический текст, а великую «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Ермолай переплавил строгий жанр в поэтичную, глубоко психологическую новеллу о всепобеждающей любви князя и простой крестьянской девушки, наполнив её фольклорными мотивами.

На основе известных исторических обстоятельств можно воссоздать их возможную беседу с митрополитом Макарием.

— Что сие есть, отче Ермолае? — тихо, но веско спросил митрополит, постукивая пальцем по строкам. — Я ждал от тебя жития праведников, сияющих в посте и молитве, а ты принес мне языческую песнь. Где византийское благочестие? Где слезы покаяния? У тебя князь Петр бьется с летающим змеем-оборотнем, как витязь в корчме, а дева крестьянская берет над ним верх лукавством да загадками!

Ермолай не дрогнул. Он знал, что Макарий — человек великого ума, но связанный обязательствами государственной пользы.

— Святый владыко, — голос Ермолая звучал негромко, но в нем проступала упрямая псковская нота. — Бог являет святость Свою не в одних лишь монастырских стенах и не только в княжеском багрянце. Неужто не чудо, что простая девица, дщерь бортника, собирающего дикий мед по лесам, уцеломудрила и исцелила гордого правителя? Я писал не для греческих свитков, а для русского сердца. Наш народ Христа в лапоточках видит.

Макарий поднялся, его тяжелая мантия зашуршала по ковру. Он подошел к окну, за которым кружилась московская метель.

— Ты не понимаешь, Ермолай, — святитель повернулся, и в его глазах блеснул огонь государственного мужа. — Мы венчали на царство Ивана Васильевича. Мы строим Третий Рим! Державе нужен канон. Монолит! Святые князья должны быть образцом незыблемой власти и чинной веры, а у тебя бояре муромские беснуются, а их жены лаются с крестьянкой, севшей на стол их предков. Твоя Феврония... зачем этот заяц, скачущий у ее ткацкого станка? Зачем эти сухие ветви, превращающиеся в зеленые деревья? Сие пахнет не ладаном, а ведовством и апокрифом!

— Не ведовство это, владыко, а милость Творца к твари Его, — горячо возразил Ермолай, сделав шаг вперед. — Заяц у кросна — знак того, что Феврония в мире со всей божественной природой живет, как Адам до грехопадения. А деревья, что за ночь из сучьев выросли — то образ веры её живой. Если мы отнимем у жития эту земную, теплую плоть, если превратим святых в золотые истуканы, народ послушает, перекрестится да и забудет. А Февронию — полюбят. Потому что она своя, из суглинка нашего и боли рожденная.

Макарий долго молчал, глядя на рукопись. Он был слишком глубоким богословом, чтобы не почувствовать гениальность и поэтическую силу текста. Но как архитектор молодой империи, согласиться с такой «демократизацией» святости он не мог.

— Текст твой красив, Ермолай, но для церковных Миней не годен, — вынес суровый приговор митрополит. — Церковь канонизирует Петра и Февронию, но песнь твою в официальные сборники мы не включим. Излишне сказочно. Излишне народно.(прим. 2)

Макарий оказался прав в одном и глубоко ошибся в другом. «Повесть о Петре и Февронии» действительно была вычеркнута из официального церковного богослужебного обихода. Но Ермолай выиграл главный спор — спор со временем. Лишенная монастырской цензуры, его повесть разлетелась по Руси в тысячах списков. Её читали в крестьянских избах и купеческих лавках, её заучивали наизусть. Защищая живую правду быта против сухого канона, псковский священник подарил русской литературе её первый роман о любви.

Но Ермолай не был просто поэтом-сказителем. Из псковского порубежья он вынес упрямое сердце защитника народной правды.

Наиболее важным публицистическим произведением Ермолая-Еразма стал его трактат «Благохотящим царем правительница и землемерие» (условно называемый «Правительница»), написанный в конце 1540-х годов — сразу после его переезда из Пскова в Москву. Именно псковские впечатления легли в основу этого смелого проекта реформ.

В «Правительнице» Ермолай-Еразм предлагает царю ряд мер по улучшению благосостояния его подданных, прежде всего — крестьян. По мнению Ермолая, царь должен заботиться «не только о вельможах, но и о самых последних. Необходимы вельможи, но вовсе не трудом своим довольствуются они. Необходимы прежде всего земледельцы: от их трудов хлеб, а от него начало всех благ... И вся земля от царя и до простых людей питается их трудом».

Ермолай с болью описывает притеснения, которым подвергаются крестьяне: «А земледельцы постоянно поднимают гнет разных работ: то платя оброк деньгами, то земские поборы, то какие-то другие. Те, кто из сборщиков направлены бывают к ним за царскими поборами, и те сверх того много себе с них берут, кроме назначенного для царя, да и на корм лошадям этих посланных, и на ямские издержки много расходуется денег. Много и других обид земледель-

цам... Земледельцев мучают из-за денег, которые поступают в царское распоряжение и даются на раздачу для обогащения вельможам и воинам, а не для необходимости».

Ермолай предлагает взимать с крестьян одну пятую часть урожая, отменив все другие виды денежных поборов (ямские, воинские и т. д.), которые разоряют крестьян и идут на обогащение вельможам: «У всех народов каждый человек отдаёт своему царю или владыкам часть плодов своей земли... Здесь, в Русской земле, не родится ни золото, ни серебро, ни многочисленный скот, но Божьим благословением лучше всего родится хлеб на пропитание людям. Так и нужно, чтобы цари и вельможи в дань с земледельца брали пятую часть от их хлеба, как положил Иосиф в Египте».

Ермолай видит и другую беду — корчмы. Описание картин хмельного веселья и беспутства сделано им на основе псковских впечатлений: первым среди городов, где царит это зло, он называет именно Псков: «Мы же тут видим, что в городе, называемом Псков, и во всех городах русских — корчмы». Особенно возмущает Ермолая нравственная распущенность женщин в хмельном состоянии: «А жена сидит уже от хмеля как в обмороке, трезвая твердость пропадает, и приходит ей охота к сатанинской игре... Ведь женщина испытывает стыд, прежде чем однажды не вкусит, когда же вкусит, больше уже не знает стыда и, привыкнув к этому, становится блудницей».

По мнению Ермолая, царь должен уничтожить это зло, ведущее к распутству и смертоубийству: «Но смилуйся, Господи, и вразуми нашего царя уничтожить... всякое хмельное питие. Ведь если в земле нашей не будет пьянства, не будут блудить замужние, не будет и убийств, помимо разбоя... А эта напасть бессмысленно губит и осторожности не знает».

Царь наказ проигнорировал, а автора удалил от двора. Около 1560 года, приняв монашеский постриг под именем Еразм, писатель скончался.

Но настоящий трагизм эпохи, против которой он выступал, развернулся чуть позже, в феврале 1570 года, когда Иван Грозный, ослепленный опричным безумием, повернул свое войско на Новгород и Псков.

Грозный царь идет карать Псков за мнимую измену. Город замер в ужасе. Колокола молчат.

Новгород уже лежал в руинах, утопленный в крови. Псков ждал той же участи. Когда опричные полки вошли в город, встречать их вышел юродивый Никола Салос, скачущий на палочке. Он протянул Грозному кусок сырого мяса со словами: «Иванушка, откушай, ты ведь человечину ешь!» А когда царь гневно отказался, пророк предсказал, что если Грозный тронет хоть один псковский храм, под ним падет его лучший конь. В ту же минуту пал царский жеребец.

Испуганный царь отступил, но Псков все равно был обескровлен, ограблен и лишен своих лучших людей, которых угнали в Москву. Мир, о котором с такой болью писал Ермолай, рушился и горел. Все, во что он верил — милость государя, покой пахаря, святость земли — уходило под опричный топор уже тогда, когда самого мыслителя не было среди живых.

В сырой монастырской келье, при слабом мерцании лучины, его пальцы, измазанные дубовыми чернилами, выводили последние строки богословских трактатов. Он подписывался просто и горько: «Еразм чернец...»

Он растворился в псковских туманах так же тихо, как растворяется колокольный звон над рекой Великой. После него не осталось ни надгробия, ни прижизненного портрета. Но его рукописи стали памятником человеку, который среди кромешной тьмы XVI века первым на Руси провозгласил: величие державы измеряется не страхом её врагов и не блеском царской короны, а сытостью и покоем её пахарей.



Илл. 3. Чернец Ермолай-Еразм. Цифровая художественная реконструкция выполнена на основе иконографических канонов, церковных летописных источников и памятников древнерусской письменности XVI века. Образ воссоздан в глубокой стилистике исторической живописи, отражающей уединённый период жизни мыслителя-публициста, наполненный созданием первых богословских трактатов и поиском государственной правды.

Глава 4. Василий-Варлаам (ок. 1505 – после 1565)



Шестнадцатое столетие стало временем, когда литература Древней Руси превратилась в инструмент идеологического и государственного строительства. Одним из главных зодчих этого монументального стиля на северо-западе Руси стал псковский книжник, вошедший в историю под двойным именем Василий-Варлаам.

Точных метрических данных об этом агиографе не сохранилось. Историки восстанавливают его биографию по крупицам, опираясь на косвенные свидетельства в его собственных сочинениях и документах псковских монастырей. Двойное имя книжника красноречиво: Василий — имя мирское, данное при крещении, Варлаам — монашеское, принятое при постриге. Такой переход в иночество был типичен для средневекового русского интеллектуала, для которого уход за стены обители означал обретение наилучших условий для книжного труда.

Хронологические рамки его биографии — от первых лет XVI века до периода после 1565 года — очерчивают судьбу человека, чья творческая деятельность развернулась в эпоху исключительной исторической насыщенности. Он был современником присоединения Пскова к Московскому государству и всех последовавших за этим потрясений. Он застал реформы Ивана Грозного, Стоглавый собор 1551 года и начало опричнины — и всё это время не откладывал пера.

Биографические сведения о Василии-Варлааме скудны. Из его собственных сочинений известно, что он принял постриг в Крыпецком монастыре в конце 1550-х годов. Переписчик его трудов, монах Елеазаровского монастыря Феодосий, в 1575 году добавил в заглавие «Жития новгородского архиепископа Никиты», что автор был игуменом монастыря Иоанна Богослова на Мишариной горе близ Пскова. От этой обители до наших дней сохранилась церковь XVI века.

Многие позднейшие исследователи признавали Василия-Варлаама посредственным писателем, называли его ремесленником и компилятором, который лишь риторически обрабатывал написанные до него тексты. Однако следование канону, подражание образцам и прямые заимствования в то время не считались признаком бездарности — для читателей они служили доказательством образованности, начитанности и высокой культуры автора. В Древней Руси ценили «красноглаголание», умение писать по строгим правилам, выражаться сложно и многоречиво. Произведения псковского писателя полностью удовлетворяли этим требованиям.

Чтобы понять Василия-Варлаама, необходимо понять Псков. Этот город являлся особым миром — своеобразной духовной лабораторией, где православная традиция приобретала черты, отличавшие её от московской или новгородской.

Псков стоял на границе с Ливонским орденом, с католическим и лютеранским Западом. Пограничное положение порождало напряжение религиозной мысли: православие здесь было

крепостной стеной, а книжники псковских монастырей ощущали себя её стражами. Агиография, которой посвятил себя Василий-Варлаам, в этом контексте становилась полемическим оружием, утверждением святости родной земли.

Псковская книжность имела долгую традицию. Местные монастыри — Снетогорский, Елеазаровского, Псково-Печерский — были центрами рукописного дела. Именно в Елеазаровской обители старец Филофей сформулировал свою концепцию «Москва — Третий Рим», ставшую основой русской государственной идеологии. Интеллектуальная атмосфера, в которой формировался Василий-Варлаам, была пронизана идеями особой миссии Руси и её ответственности перед православным миром.

Центральное место в творческом наследии Василия-Варлаама занимает Житие Евфросина Псковского — преподобного, основавшего в XV веке Спасо-Елеазаров монастырь и прославившегося участием в острых церковных спорах.

Василий-Варлаам написал Житие Евфросина в 1547 году, специально к моменту его официальной канонизации, которая состоялась на Церковном соборе при митрополите Макарии. Канонизация требовала агиографического оформления: без жития святой оставался как бы незавершённым, не введённым в полноту предания.

Но псковский книжник создал не просто благочестивое жизнеописание. Его труд — это одновременно богословский трактат, полемическое сочинение и историческое свидетельство. Центральная часть текста посвящена тому, как Евфросин добивается небесного подтверждения правоты сугубой аллилуии: святому является Богоматерь и указывает на истинность двукратного пения. Этот эпизод — не украшение повествования, а богословский аргумент, облечённый в агиографическую форму. Ссылка на авторитет Пресвятой Богородицы была призвана окончательно закрыть спор, длившийся десятилетиями.

Василий-Варлаам работал в традиции «плетения словес» — изощрённого риторического стиля, который пришёл на Русь с юга, из сербской и болгарской книжности, в XIV–XV веках. Этот стиль предполагал насыщенность текста цитатами из Священного Писания, нагнетание синонимических рядов, торжественный ритм фраз и обилие эпитетов.

Однако псковский мыслитель не был простым подражателем. В его текстах риторическое великолепие сочетается с живой конкретностью деталей, восходящих к местной устной традиции и реальным воспоминаниям. Рассказывая о чудесах Евфросина, он сохраняет имена исцелённых, называет конкретные места и обстоятельства. Всё это придаёт повествованию достоверность и укореняет святого в памяти общины.

Такое сочетание высокого стиля и конкретного свидетельства — характерная черта псковской агиографической школы. Местные книжники в целом были ближе к живой народной традиции, чем их московские современники, что придавало их сочинениям особую энергию.

Значение Василия-Варлаама для истории древнерусской литературы определяется несколькими факторами.

Он обеспечил агиографическое оформление псковской святости в переломный момент, когда Псков, утратив самостоятельность, нуждался в утверждении своей духовной идентичности. Жития, созданные местными книжниками середины XVI века, стали своеобразной хартией этой идентичности.

Его сочинения вошли в состав Великих Четьих-Миней — грандиозного свода агиографической литературы, составленного по инициативе митрополита Макария. Включение в этот свод означало признание на общерусском уровне: псковский книжник становился участником общенационального культурного проекта.

Наконец, полемический пласт его творчества сохраняет историческую ценность как свидетельство о реальных богослужебных спорах эпохи — спорах, в которых отражалось противостояние разных традиций и разных пониманий церковного авторитета.

Имя Василия-Варлаама не стало широко известным за пределами узкого круга специалистов. Это судьба многих средневековых книжников — безымянных строителей великой культуры, которую мы часто воспринимаем как нечто возникшее само собой. Но именно их упорный труд над страницами тяжёлых рукописей и создал то, что мы сегодня называем древнерусской литературой.



Илл. 4. Писатель-агиограф Василий-Варлаам за созданием рукописи в монастырской келье. Цифровая художественная реконструкция.

Глава 5. Феофан Прокопович (1681–1736)



Оставив позади Смутное время, тяжелейшие осады и разорения бурного семнадцатого века, древний Псков вместе со всей страной шагнул в петровскую эпоху. Восемнадцатое столетие открыло новую страницу русской жизни радикальными разломами — государственными, культурными и духовными. Эпоха Петра Великого ломала привычный уклад, и одним из самым смелых, противоречивых и талантливых архитекторов этого перелома стал человек, чья судьба напрямую пересеклась с историей древнего Пскова. Архиепископ Феофан Прокопович — богослов, писатель, драматург, оратор и идеолог империи — был фигурой настолько яркой, что споры о нём не утихают по сей день.

Детство будущего реформатора, начавшееся в 1681 году, прошло в Киеве, в купеческой семье. Мирское имя его — Елеазар. Рано осиротев, мальчик был взят на воспитание дядей — ректором Киево-Могилянской академии, и это предопределило его судьбу. Киевская академия в конце XVII века являлась крупным интеллектуальным центром, где латынь звучала так же привычно, как церковнославянский, где изучали Аристотеля и отцов Церкви, а богословие соединялось с риторикой и философией.

Юный Елеазар учился блестяще: овладел латынью, греческим, польским, изучал математику, астрономию. В 1698 году он отправился в Рим — в знаменитую коллегию святого Афанасия. Три года в Италии дали ему то, чего не могла дать Киевская академия: знание западной схоластики, понимание католического богословия, владение европейскими языками и интеллектуальную свободу человека, видевшего мир шире границ одной конфессии.

Вернувшись в Киев, Феофан быстро стал ведущим преподавателем академии, а в 1710 году — её ректором. Но подлинная слава пришла к нему благодаря его проповедям. Феофан был оратором редкостного дарования: его речи были ясны, образны, страстны, построены по правилам классической риторики, но при этом лишены сухости и занудности. Он умел говорить так, что его слушали все — от монаха до солдата.

В 1706 году в Киев приехал Петр I. Феофан произнес перед царем проповедь — и это был не обычный панегирик, а глубокое обоснование царской власти как Божественного установления, призванного вести Россию к величию. Петр был поражен. Он нашел в киевском монахе то, чего так не хватало его окружению: ум, способный облечь имперскую идею в форму богословского трактата, и перо, способное эту идею защитить. С того момента судьба Феофана была определена: он стал ближайшим сподвижником царя, его идеологом и главным «учёным монахом» эпохи.

В начале 1718 года завершилось служение псковского митрополита Иосифа, покинувшего этот мир. Петр I, которому были нужны верные единомышленники на ключевых постах, незамедлительно решил: псковскую кафедру займёт Феофан. 2 июня 1718 года состоялось тор-

жественное посвящение нового епископа в присутствии самого царя. По свидетельству митрополита Евгения (Болховитинова), новопосвящённому была оказана особая честь: его облачили в саккос — привилегия, доступная далеко не каждому архиерею. К 1720 году Феофан носил сан архиепископа Псковского, Нарвского и Изборского.

Псковская епархия в то время была одной из самых сложных в России. Город по-прежнему сохранял дух вольности и память о былом величии. Здесь было сильно старообрядчество, с подозрением относились ко всему, что шло из Петербурга, а каждое нововведение воспринималось как покушение на старую веру.

И на берега реки Великой, где столетиями звучали голоса Евфросина, Филофея, Ермолая-Еразма и Василия-Варлаама, пришла воля человека, призванного утвердить новые государственные каноны.

Получив псковскую кафедру, Феофан остался в столице — царь-реформатор нуждался в нём как в идейном помощнике. Однако связи с епархией он не терял. В 1719 году Феофан совершил инспекционную поездку по псковским землям, о которой подробно рассказал в письме своему другу Якову Марковичу от 10 мая 1720 года:

«Был я в Ревеле, в сопровождении архимандрита Петра и отца Михаила... Оттуда, через Ливонию, на пути в Дерпт, я посетил село Альп, чтобы взглянуть на семинарию, которую там содержит барон Нирот, владелец этого и других сел... В школе его четыре учителя и до ста воспитанников, большею частию ливонцы, но есть несколько и русских; я увеличил число их, послав туда трех молодых людей, для изучения греческого, еврейского и латинского языков, так же географии и истории. Отсюда я прибыл в Дерпт. Это был когда-то прекрасный город; но теперь великолепные здания его стоят в развалинах и наводят тоску на путешественников. После того я отправился в раскольничий монастырь в селе, называемом Репина мыза, где живет до 500 мужчин и столько же, если не больше, женщин. Но с приходом нашим все они разбежались в леса, оставив пустой дом, так что не осталось никого, кому бы мы могли проповедывать. За тем, посетивши Псков и некоторыя другия места, возвратился в Нарву, а оттуда в С.Петербург, проехав почти 200 миль».

Это письмо — живое свидетельство того, с чем столкнулся Феофан: старообрядчество было так сильно, что целые монастыри предпочитали бежать в леса, чем встречаться с архиепископом-реформатором.

Псков встретил нового архиерея настороженно. Люди помнили, как в 1705 году город восставал против петровских реформ — против новых налогов, брадобрития и немецкой одежды. Бунт был жестоко подавлен. Теперь сюда приезжал епископ, о котором говорили, что он «любит немецкое паче русского», учился в Риме у латинян и несёт чуждые вольнодумные идеи.

Одним из главных критиков Феофана в Пскове был старообрядческий начётчик Досифей. Этот человек пользовался в городе огромным авторитетом: знал наизусть Священное Писание, спорил о двуперстии и доказывал, что старый уклад рушится. На основе известных исторических документов и активности архиепископа в борьбе со старообрядчеством можно воссоздать их возможный диалог.

Зимний вечер в архиерейских палатах Псковского кремля. За окном снег валит так густо, что не видно стен Троицкого собора. В просторной комнате горят свечи. На столе — раскрытые книги, рукописи, перо и чернильница. Феофан Прокопович сидит в кресле и читает.

Раздаётся стук в дверь. Входит келейник.

— Ваше преосвященство, к вам пришёл некий Досифей. Говорит, что хочет побеседовать о вере.

Феофан откладывает книгу, усмехается.

— Досифей? Это тот самый начётчик, который смущает народ разговорами о конце света? Ну что ж, пусть войдёт. Посмотрим, что он скажет.

В комнату входит Досифей — высокий, сутулый старик в чёрном зипуне, с длинной седой бородой. Он не кланяется, не целует руку архиерея — только крестится двумя перстами и останавливается у порога.

— Здравствуй, Досифей, — спокойно говорит Феофан. — Садись, не стой.

— Не сяду, — глухо отвечает старик. — С еретиком за один стол не сяду...

Феофан поднимает брови.

— Еретиком? Интересно. А в чём моя ересь, позволь узнать?

— Ты в Риме учился. У латинян. Ты троеперстие ввёл. Ты брады людям бреешь. Ты старые книги жжёшь. Ты — слуга антихриста.

Феофан вздыхает, встаёт, подходит к окну.

— Досифей, ты умный человек. Ты книги читал — я знаю. Так скажи мне: что важнее — форма креста или сердце, которым крестятся? Что важнее — длина бороды или дела милосердия? Что важнее — старая орфография или живая вера?

— Форма — это не пустое! — взрывается Досифей. — Отцы наши так молились, деды наши так крестились! А вы пришли и всё смешали. Вы от греков отступили, к немцам пристали. Вы церковь превратили в приказ государев!

— Превратили в приказ? — Феофан оборачивается, и в его голосе звучит сталь. — Нет, Досифей. Мы вернули церковь на её место. Церковь не должна быть государством в государстве. Она должна служить народу, просвещать его, вести его к Богу — а не сидеть в углу и бормотать: «Всё пропало, антихрист пришёл».

— А ты! — Досифей делает шаг вперёд, указывая костлявым пальцем. — Ты сам антихристу служишь! Ты Петра славишь, а он — губитель Руси! Он на немецкий лад нас переделывает, он веру нашу топчет...

— Он спасает Россию! — перебивает Феофан, и голос его гремит. — Он строит флот, армию, школы, больницы. Он делает нас сильными, чтобы нас больше никто не унижал. А вы что делаете? Вы в лесах прячетесь, сжигаете себя в срубах и кричите, что мир кончается. Скажи мне, Досифей, — какой в этом смысл? Какая в этом вера?

Досифей молчит, тяжело дышит. Потом тихо, но твёрдо произносит:

— Смысл в том, чтобы не предать.

Феофан замирает. Он возвращается к столу, садится, устало проводит рукой по лицу.

— Не предать... Досифей, я не предал. Я люблю Церковь. Я служу ей всю жизнь. Но я не хочу, чтобы она превратилась в музей. Мир меняется. Россия меняется. И если мы не изменимся вместе с ней — мы исчезнем. Старообрядцы уже исчезают. Их жгут, их ссылают. Зачем? Ради чего?

— Ради правды, — упрямо отвечает Досифей. — Правда дороже жизни.

— Правда дороже жизни, — повторяет Феофан. — Хорошие слова. Но скажи мне: чья правда? Твоя? Моя? Петра? Патриарха Никона? Кто из нас прав, Досифей? И кто решит?

Старик молчит. Потом крестится двумя перстами, разворачивается и уходит.

Феофан долго смотрит ему вслед. Потом тихо, про себя, произносит:

— Упрямый народ. Святой, но упрямый. (прим. 3)

Суть конфликта этой сцены исторически точна: Феофан был реформатором, который верил, что церковь должна служить государству и просвещению, а старообрядцы видели в секуляризации предательство веры. Этот раскол прошёл через всю его псковскую жизнь.

Псковская епархия переживала крайнюю нужду. Архиепископ постоянно испытывал финансовые трудности. О масштабе бедствия свидетельствует его письмо царю Петру I, написанное в 1723 году:

«Врученная мне епархия вельми скудна: денег собирается не многое число и по годам неровное, для того, что некия пустоши иногда вода заливает и, по раздаче церковным и домовым служителям, мало что на нужды домашния остается. А в прошлом году писано ко мне

из дому архиерейского, что по раздаче осталось денег рубль тридцать алтын и четыре деньги, что я объявлял в Синоде и в Сенате в Москве. А дом я застал вельма нагий и пометеный: что можно знать из взятых в казну государеву денег по смерти покойного блаженныя памяти антецессора моего, Иосифа митрополита. И тако на едино хлебородие некаяя осталась было надежда, но и того скудно: триста дворов, сказует, на лицо насилу сыщется; мором пустоты много сделалося. И к тому же чрез несколько лет прежде мне и при мне великий недород был. Сверх того бы сноснейшая скудость была в Пскове: но понеже жить велено в С.Петербурге (что мне благоприятно и радостно есть): то иждивение стало не по доходам: пиво, дрова, иногда даже и сено покупаем; негде скотину держать, некуда лошадей выгнать».

Архиерейский дом был разорён, епархия обеднела настолько, что после всех обязательных выплат в казне оставалось «рубль тридцать алтын и четыре деньги». Архиепископ был рад, что ему не нужно постоянно находиться в Пскове: в столице, среди единомышленников и книг, ему было комфортнее.

В письме Якову Марковичу Феофан делился новостью о пополнении своей библиотеки, которую собирал всю жизнь:

«После того я услыхал, что в псковской оружейной палате хранятся книги, забранныя в Дерпте, и тотчас же попросил Императора, чтобы он приказал отдать их мне. Государь приказал, и мне отдано и привезено сюда до двух с половиною тысяч книг».

Псковский период Феофана (1718–1725) стал временем напряжённой деятельности. Он реформировал епархиальное управление, открывал школы, боролся с суевериями, проповедовал. Но главное его творение этих лет — участие в создании «Духовного регламента» (1721), документа, который упразднил патриаршество и учредил Святейший Синод — коллегиальный орган управления церковью под контролем императора.

Этот акт стал переломным в истории Русской Церкви: она превращалась в часть государственного аппарата. Сам Феофан писал в «Правде воли монаршей» (1722): «Лучше коллегиальное управление, чем единоличная власть патриарха, который может впасть в гордыню и противопоставить себя царю».

28 января 1725 года умер Петр, и началась пора дворцовых интриг и борьбы за влияние при дворе и в Синоде. Феофан оказался одной из главных мишеней. В этой борьбе его враги несколько лет методично разрабатывали так называемый «псковский след». Началось дело об имущественных хищениях в псковском архиерейском доме, которое со временем переросло в обвинение в еретичестве.

Летом 1726 года монахи Псково-Печерского монастыря выслали в Синод имущество арестованного архимандрита Маркелла Родышевского. Среди изъятых вещей обнаружились епитрахиль и пелена с выпоротым жемчугом. Под следствием Маркелл показал, что жемчуг он выпорол по распоряжению Феофана, а иеродиакон Адам затем его продал.

29 сентября Феофан подал в Верховный Тайный Совет развёрнутую объяснительную записку:

«Получил я, нижайший, присланный из св. синода указ, в котором, по силе вашего величества указа, из Верховного Тайного Совета в Синод присланного, велено мне, взятый мною из псковской ризницы жемчуг в дом архиерейской псковской возвратить. И понеже видно, что туне гонящии мене напастники мои, дабы мене ко угождению вражды своей, и для некоей погибельной себе пользы (постигнет бо их неизбежный суд Божий), опорочить, донесли о сем коварно утаявая вину дела: того ради нижайший вашего величества раб и богомолец, всепокорнейшим сим моим доношением, обстоятельно ответствую. Прошедшаго 1723 года, когда жалованье синодальным членам было удержано, пришел было я в толь крайнюю скудость, что уже приходило до лишения пищи. И тогда в великом недоумении мне пребывающему, некии из чина духовного служители мои показали в малом сундучке жемчуг, иной на нитках нани-

зан, а другой ненизанный, к продаже за настоящую нужду; который жемчуг продать велел я, известен о правилах соборных, церковныя вещи продавать за нужду позволяющих».

Суть дела была не в самих деньгах, а в публичном унижении, которому подвергли архиепископа, заставляя его возмещать стоимость проданного церковного имущества.

Последний всплеск «псковского дела» пришёлся на 1730 год. Накануне коронации Анны Иоанновны дворянин новгородского архиерейского дома Иван Носов, противник Феофана, вновь напомнил властям о псковской истории:

«По истинным моим объявлениям, бывший псковский архиерей, что ныне новгородский же, Феофан... Во время архиерействования своего в Пскове многие святыя церкви и монастыри, для богомерзского своего лакомства, псковскому архиерейскому дому приписал, от которых вотчины и всякие доходы отнял... Сверх того от них церковныя имения, всякую утварь и колокола, отобрав распродал и в непристойныя монашеству роскоши употребил».

Новая императрица Анна Иоанновна взошла на престол при прямом содействии Феофана, и потому обвинения его врагов не могли изменить её расположение к нему. Псковская история была окончательно закрыта.

В 1725 году Феофан был переведён на новгородскую кафедру. Последние одиннадцать лет жизни он провел преимущественно в Петербурге, будучи вице-президентом Святейшего Синода.

Литературное наследие Феофана огромно. Он автор трагикомедии «Владимир» (1705) — одной из первых русских пьес, где языческий князь Владимир принимает христианство, сокрушая идолов. Пьеса являлась аллегорией: под Владимиром современники угадывали Петра, а под языческими жрецами — противников реформ.

Феофан был блестящим проповедником. Его «Слова и речи» — образцы риторического искусства, где библейские образы переплетаются с античной мифологией. Особенно знамениты его похвальные слова Петру I, в которых он создал образ царя-демиурга, отца народа и строителя империи. После смерти Петра в 1725 году Феофан произнёс знаменитую надгробную проповедь, которая стала каноническим текстом петровского мифа.

Он основал «Учёную дружину» — кружок единомышленников, где обсуждались вопросы науки, литературы и богословия. Переводил Горация, писал стихи на латыни и русском языке. Феофан стал автором эстетических трактатов по поэтике и риторике (1705–1707), заложивших основы русского литературоведения XVIII века.

Но государственные успехи имели свою цену. Феофана обвиняли в ереси, в лютеранстве, в измене Православию. Его называли «царедворцем в рясе» и «разрушителем Церкви». После его смерти 8 сентября 1736 года враги ликовали, а друзья оплакивали.

История рассудила Феофана сложно. С одной стороны, его реформы подчинили Церковь государству и лишили её самостоятельности на два столетия — вплоть до 1917 года. С другой стороны, без этих преобразований невозможно представить Россию XVIII века — империю, вошедшую в европейский концерт держав.

Псковская страница биографии Феофана — это страница драматического столкновения старого и нового. На земле, где некогда Евфросин отстаивал сугубую аллилуйю, Филофей провозглашал концепцию Третьего Рима, а Ермолай защищал права крестьян, Феофан проводил жёсткую линию имперской церковной реформы. Это был радикальный бой за душу России.

Феофан Прокопович остался в истории как один из самых ярких и противоречивых деятелей петровской эпохи. Гениальный писатель, блестящий богослов, смелый реформатор — он одновременно являлся человеком, который, по мнению многих, предал то, что должен был хранить. Его жизнь — пример того, как трудно совместить верность традиции с требованиями времени.

На берегах реки Великой, среди древних стен Псковского кремля, семь лет звучал голос человека, который верил: Россия должна стать великой державой — любой ценой. И эта цена была заплачена сполна.



Илл. 5.

Феофан Прокопович (1681–1736). Цифровая художественная реконструкция облика сподвижника Петра I и интерьера его личной библиотеки во время работы над государственными трактатами (первая треть XVIII в.). Выполнена на основе прижизненной иконографии из архивных фондов.

Глава 6. Татищев Василий Никитич (1686–1750)



В грандиозной летописи Российского государства восемнадцатый век отмечен именами мирового масштаба. Однако даже на фоне титанов петровской эпохи фигура Василия Никитича Татищева возвышается обособленно. Для Псковской земли он не просто знаменитый земляк, а учёный-энциклопедист, неутомимый созидатель, основавший крупнейшие города Урала и Поволжья, и крестный отец отечественной исторической науки.

Судьба отмерила ему путь долгий и тернистый. Родившийся в 1686 году в семье псковского помещика, Татищев с ранних лет впитал в себя дух родного края — земли древней, пограничной, привыкшей стоять на рубеже между прошлым и будущим. Псков издревле был городом, где история не просто хранилась в летописях, а жила в камнях стен, в звоне колоколов и в самом воздухе, настоянном на столетиях борьбы и созидания. Это обстоятельство и посеяло в душе будущего историка интерес к отечественным древностям, который пророс впоследствии в монументальный труд всей его жизни.

Юность Татищева прошла в горниле петровских преобразований. Он участвовал в Северной войне, бился под Полтавой, прошёл через все испытания великой эпохи переустройства России. Пётр Великий умел разглядеть в людях скрытый талант, и Татищев не остался незамеченным. Государь направил его на Урал — управлять горными заводами, и здесь открылась новая грань этого необыкновенного человека: Татищев-администратор, Татищев-градостроитель.

На Урале он основал Екатеринбург — город, которому суждено было стать опорным камнем промышленной мощи России. Позднее, в Поволжье, из его трудов и замыслов вырос Ставрополь-на-Волге. Он строил заводы и школы, прокладывал дороги и учреждал библиотеки — везде оставляя за собой след человека, для которого созидание было естественной потребностью. В этом Татищев был истинным сыном петровского времени: практичным, но при этом неутолимо жаждущим знания ради самого знания.

Однако главным деянием его жизни стал труд, которому он посвятил без малого четыре десятилетия подвижнического служения. «История Российская» — сочинение, не имевшее прецедента в отечественной культуре. До Татищева Россия не знала систематического научного исследования собственного прошлого. Существовали летописи, монументальные церковные своды и дипломатические документы, в которых прошлое осмыслялось преимущественно через призму Божьего промысла. Но не было того, что на Западе уже давно стало нормой образованного сословия, — истории как светской науки, как связного повествования, опирающегося на критический анализ источников.

Татищев создал эту науку. Он объездил монастыри и архивы, собирал летописи и грамоты с огромной страстью, — но не для того, чтобы просто владеть ими, а для того, чтобы

заставить их говорить. Некоторые источники, которыми он пользовался, впоследствии были утрачены безвозвратно, и сегодня мы знаем о них лишь благодаря тому, что Татищев успел их прочесть и записать. В этом смысле его труд стал ковчегом, сохранившим для потомков то, что иначе кануло бы в небытие.

«История Российская» охватывала отечественное прошлое от легендарных времён до эпохи Ивана Грозного и Смутного времени, завершаясь воцарением династии Романовых. Татищев не просто излагал факты — он их осмыслял, сопоставлял источники, спорил с предшественниками, выдвигал собственные концепции. Он был первым, кто применил к изучению русской истории принципы рационального критицизма, кто потребовал от исторического знания строгости. В этом он был подлинным учеником Просвещения — хотя европейские философы-просветители в большинстве своём только начинали формулировать свои идеи, когда Татищев уже воплощал их в конкретном историческом исследовании.

Судьба, однако, оказалась к нему несправедлива с той жесткостью, которую история приберегает для своих самых верных служителей. «История Российская» вышла в свет лишь после смерти автора — первый том был опубликован в 1768 году, спустя восемнадцать лет после того, как Татищев ушёл из жизни. Он умер в 1750 году в своём имении Болдино под Москвой, так и не увидев главного труда своей жизни напечатанным. По преданию, незадолго до смерти он получил известие о том, что с него снимаются обвинения, тяготевшие над ним в последние годы, — и спокойно ответил, что теперь это уже не имеет значения. Человек, проведший жизнь в служении вечному, умел смотреть на временное с надлежащим спокойствием.

Для Псковской земли Татищев — особая гордость. Не парадная, витринная гордость, которую выставляют напоказ в юбилейных речах, а гордость глубокая и живая — гордость землячества с человеком, который понял важное: народ, не знающий своей истории, подобен дереву без корней. Татищев дал России её историческую память — не в виде мифа или легенды, а в виде знания, добытого тяжким трудом, проверенного критическим умом, открытого для всякого, кто захочет воспользоваться им.

В этом — его непреходящее значение и его урок, обращённый через века к нам.



Илл. 6. Василий Никитич Татищев. Цифровая художественная реконструкция облика государственного деятеля, первого русского историка и интерьера его рабочего кабинета во время создания «Истории Российской» (первая половина XVIII в.). Выполнена на основе прижизненного живописного портрета из государственного художественного архивного фонда.

Глава 7. Теплов Григорий Николаевич (1717–1779)



Если критический ум Василия Татищева создавал строгий каркас русской исторической науки, то сама эпоха русского Просвещения подарила миру иной феномен — людей универсального, ренессансного дарования, способных одинаково успешно управлять государством, писать стихи, сочинять музыку и формулировать философские концепции. Одним из первых полиматов в истории Российской империи стал ещё один уроженец псковской земли Григорий Николаевич Теплов.

Его появление на свет поздней осенью 1717 года совпало с периодом, когда древний Псков хранил дух вольного средневекового торжища, но уже полностью подчинялся петровской централизации. Само происхождение будущего сенатора и академика остаётся предметом споров: по одной версии, он был незаконнорождённым сыном архиепископа Феофана Прокоповича, по другой — его взяли на воспитание из семьи незначительного псковского истопника. Как бы то ни было, именно Прокопович разглядел в мальчике исключительные способности и взял его в свой петербургский дом, превратив в одного из любимейших учеников своей «учёной дружины».

Под кровом Феофана юный Григорий получил образование европейского масштаба. Он изучал латынь, греческий, немецкий и французский языки, штудировал античных философов, знакомился с трудами Лейбница, Вольфа, Декарта и Локка. Прокопович умело направлял пытливый ум воспитанника, прививая ему вкус к систематическому знанию. Когда в 1743 году, уже будучи адъюнктом Академии наук по классу ботаники, Теплов был отправлен в Германию в качестве наставника юного графа Кирилла Разумовского, он приехал туда вполне подготовленным молодым учёным, умевшим вести спор с профессорами на равных.

Германские университеты дали Теплову живой контакт с европейской научной традицией. В Тюбингене Теплов слушал лекции по натуральной философии и математике, посещал анатомический театр, брал уроки музыкальной композиции. Именно в этот период у него сложилось убеждение, которое он пронёс через всю жизнь: музыка и математика суть явления одной природы, два языка описания единого мирового порядка, основанного на числе, пропорции и гармонии.

Вернувшись в Россию в 1745 году, Теплов закрепился на вершине академической иерархии. Когда юный граф Кирилл Разумовский был назначен президентом Императорской Академии наук, Теплов стал его незаменимым помощником. Он, по существу, управлял академией в течение почти двух десятилетий, решая административные, финансовые и кадровые вопросы с энергией и практичностью, без которых учреждение давно бы впало в хаос.

Отношения Теплова с Ломоносовым — болезненная страница в истории русской науки. Два человека, впитавшие дух германской университетской науки и одинаково преданные

идее просвещения России, с самого начала смотрели друг на друга с нескрываемой неприязнью. Ломоносов видел в Теплове бюрократа и карьериста, готового принести интересы науки в жертву придворным соображениям. Теплов считал Ломоносова гением неуправляемым и склонным к демонстративным выходкам, способным скомпрометировать академию в глазах власти. Их конфликт обнажил глубокое противоречие, которое будет преследовать российскую науку в последующие столетия: противоречие между свободным творческим духом и государственной необходимостью.

Собственные научные и художественные труды Теплова заслуживают большого внимания. В 1751 году он опубликовал трактат «Знания, касающиеся вообще до философии», ставший в России первым систематическим введением в европейскую философию Нового времени. Написанная живым, ясным языком, книга знакомила русского читателя с идеями Вольфа и Лейбница, с основами логики и метафизики. Современники оценили книгу высоко за редкий педагогический дар автора — умение сложное сделать понятным.

Однако подлинной страстью Теплова была музыка. Здесь он достиг результатов, которые ставят его в ряд основоположников русской композиторской школы. В 1759 году вышел его сборник «Между делом безделье, или Собрание разных песен с приложенными тонами на три голоса» — первое в истории России печатное собрание авторских романсов с нотами. Само название сборника отражает характерную для тепловского поколения двойственность: серьёзные государственные мужи занимались искусством как будто стыдясь, называя его «бездельем», но именно в нём достигали бессмертия. Романсы Теплова поражают мелодической изобретательностью и тонким ощущением связи между словом и звуком. В них слышится и влияние итальянской оперной традиции, и нечто русское по интонации, лирическое по духу.

В то же время Теплов написал несколько теоретических работ о музыке — в частности, трактат о гармонии, в котором пытался обосновать законы благозвучия с позиций математики. Эти работы остались в рукописях, однако позволяют судить о глубине его музыкально-теоретических познаний.

Государственная карьера Теплова развивалась параллельно с его учёными занятиями. В начале 1760-х годов он оказался в самом центре событий: именно Теплов составил манифест о восшествии на престол Екатерины II — документ, которым была юридически оформлена судьба империи в ночь переворота 28 июня 1762 года. Ловкий и образованный, он умел облекать политическую волю в безупречные риторические формы.

Екатерина ценила Теплова высоко. Он был введён в Сенат, участвовал в работе Уложенной комиссии 1767–1768 годов, готовил записки по вопросам государственного управления — от реформы местного самоуправления до организации народного образования. В его записках поражает системность мышления, способность видеть частное как проявление общего.

Вместе с тем годы приближённости к власти наложили на Теплова свой отпечаток. Человек, который в молодости с увлечением сочинял романсы, постепенно превращался в искушённого царедворца, умевшего лавировать в сложных водах придворной политики. Некоторые его поступки вызывали серьёзные нравственные вопросы: его участие в деле гетмана Разумовского, которому он долгие годы служил, а затем помог отстранить от власти, воспринималось многими как образец политического вероломства.

Последние годы жизни Теплов провёл в тихом полузатворничестве. Он отошёл от активной государственной деятельности, вернулся к занятиям музыкой и философией, вёл обширную переписку с европейскими учёными. По свидетельствам современников, в старости он сделался задумчив и меланхоличен, нередко говорил о тщете политической суеты. Умер он в 1779 году в Петербурге и был погребён без особой торжественности, как будто эпоха уже начинала забывать о своих сложных детях.

Историческая память обошлась с Тепловым несправедливо: его помнят преимущественно как бюрократа и интригана, а его подлинные достижения остаются уделом узких спе-

циалистов. Между тем именно он был одним из первых людей в России, попытавшихся осуществить на практике просветительский идеал единства науки и искусства, государственного служения и личного творчества. То, что эта попытка удалась лишь отчасти, делает фигуру Теплова более значимой: в его судьбе отразились главные противоречия русского Просвещения, так и не сумевшего примирить универсальный идеал с жёсткой реальностью империи.



Илл. 7. Государственный деятель, философ и писатель Григорий Николаевич Теплов в рабочем кабинете. Цифровая художественная реконструкция. Выполнена на основе прижизненного живописного портрета XVIII века работы неизвестного художника.

Глава 8. Княжнин Яков Борисович (1740–1791)



В отечественной словесности XVIII века за правильным, холодным фасадом классицизма скрывалось мощное свободолюбивое движение. Театральная сцена той поры была не просто местом развлечения, а главной общественной трибуной империи. Одним из самых ярких драматических авторов этой эпохи стал Яков Борисович Княжнин — человек, который превратил строгий стихотворный канон в язык прямого политического протеста.

Родовые корни драматурга уходят в пусторжевские вотчины — земли нынешних Бежаницкого и Новоржевского районов Псковской области. Местная дворянская традиция прочно связывает имя Княжнина с этим краем, где веками сохранялась память о самобытном укладе и вечевых свободах северо-западной Руси. Этот подспудный республиканский отзвук, впитанный писателем через семейные предания, спустя десятилетия обрёл мощный голос в его зрелом творчестве.

Отец будущего поэта, Борис Иванович Княжнин, служил в провинциальной администрации. Номенклатура губернских должностей на протяжении столетия постоянно менялась, поэтому точное соответствие его чина термину «вице-губернатор» требует архивных сверок, однако высокий образовательный уровень семьи остаётся бесспорным. Стремление к просвещению и служебный опыт отца во многом определили характер и интересы Якова.

Шестнадцатилетним юношей Княжнин уехал в Санкт-Петербург и поступил в Академическую гимназию при Академии наук. Здесь не просто преподавали науки, но воспитывали вкус к словесности и театру: гимназисты ставили пьесы, переводили Расина, Корнеля, Вольтера и Метастазио. Для впечатлительного юноши эти годы стали временем подлинного интеллектуального формирования. Гимназический опыт чтения европейских авторов оставил след на каждой строке его будущих трагедий.

В 1755 году, завершив обучение, Княжнин поступил на службу в Коллегию иностранных дел, где его чиновничья карьера поначалу складывалась успешно. В этот же период он связал свою судьбу с Екатериной Александровной Сумароковой — дочерью знаменитого драматурга Александра Сумарокова. Брак ввёл его в самый центр театрального мира столицы. Однако вскоре жизнь писателя резко изменилась: в 1773 году Княжнина обвинили в растрате казённых средств. Наказание оказалось суровым — его лишили дворянского достоинства и разжаловали в рядовые.

Именно в этот кризисный момент проявилась стойкость его семьи. Поддержка супруги и высокое общественное уважение к роду Сумароковых помогли Княжнину выстоять. Союз, заключённый в благополучные годы, выдержал испытание позором. Благодаря заступничеству влиятельных покровителей писатель получил помилование и вернулся в светское общество.

Пережитый личный крах кардинально изменил его мировоззрение, дав мощный импульс к серьёзному литературному творчеству.

Первым крупным успехом Княжнина стала трагедия «Дидона» (1769), написанная по всем канонам классицизма: со строгим единством действия, александрийским стихом и конфликтом между чувством и долгом. Настоящую же славу принесли постановки 1780-х годов, главным из которых стал «Росслав» (1784). Сюжет о русском воеводе, который в шведском плену отказывается купить свободу ценой измены, был пронизан патриотическим пафосом. Публика принимала пьесу с восторгом. Однако за громкой риторикой Княжнин скрывал глубокий философский вопрос: что есть истинная честь и перед кем человек несёт за неё ответственность — перед монархом или перед собственной совестью?

Параллельно с трагемиями Княжнин завоевал репутацию мастера комедии. Его пьесы «Хвастун» (1786) и «Чудаки» (1790) отличались живыми диалогами и точными социальными типажами. Образ мошенника Верхолета из комедии «Хвастун» стал важной вехой в истории русской драматургии, предвосхитив сатирические типы Фонвизина и Грибоедова.

Вершиной творчества Княжнина стала трагедия «Вадим Новгородский», завершённая незадолго до смерти автора. Летописный сюжет о мятеже новгородского посадника Вадима против призванного князя Рюрика приобрёл под пером драматурга острое, взрывоопасное звучание. Княжнин отказался от плакатных схем: его Рюрик — не жестокий тиран, а мудрый, просвещённый правитель. Конфликт от этого становится трагичнее — Вадим восстаёт не против деспотизма, а против самого принципа монархического единовластия, защищая древние республиканские свободы. *«А я твой гражданин!..» — бросает он вызов правителю. — «И с жизнию моей свобода мне дана, Иль днесь, иль завтра в гроб со мной сойти должна».*

Яков Борисович Княжнин умер 14 (25) января 1791 года. Легенда о том, что причиной его смерти стало преследование со стороны властей или телесное наказание, опровергается фактами: при жизни автора пьеса не публиковалась и не ставилась на сцене. Настоящая драма писателя заключалась в том, что он ушёл, так и не узнав, какая судьба уготовлена его главному детищу.

В 1793 году, когда пьесу опубликовали, Екатерина II, напуганная событиями Французской революции, усмотрела в «Вадиме» опасный призыв к бунту. По её личному указу весь тираж трагедии был конфискован и сожжён. Этот инцидент стал одним из самых громких актов цензуры в истории России, предваряя долгую эпоху государственного контроля над художественным словом.

Тем не менее уничтожить замысел дотла не удалось: уцелевшие списки драмы Княжнина продолжали тайно распространяться, бередя умы следующего поколения. Спустя десятилетия бунтующая тень Вадима увлечёт молодого Александра Пушкина, который сам попытается взяться за поэму на этот сюжет, признавая в псковском драматурге своего сильного и дерзкого предшественника.

Жизнь Княжнина вместила в себя стремительные взлёты, судебный позор и триумфальное возвращение, а его произведения доказали, что строгая классическая форма способна вместить в себя живую, бунтующую душу.



Илл. 8. Поэт и драматург Яков Борисович Княжнин. Цифровая художественная реконструкция. Выполнена на основе прижизненного гравированного портрета XVIII века.

Глава 9. Фонвизин Денис Иванович (1745–1792)



В блистательной плеяде писателей XVIII века Денис Иванович Фонвизин занимает особое место. Он стал пионером русской бытовой комедии, показав обществу его пороки в гротескно-реальном свете — не отвлечённом, риторическом, а узнаваемом, домашнем, подсмотренном как будто из соседней усадьбы. Значительная часть жизненных испытаний и творческих замыслов писателя была связана с территорией Псковской земли, где его сатирический гений обрёл необходимую уединённость и автономию от столичной суеты.

Денис Иванович Фонвизин появился на свет 14 апреля 1745 года в Москве, в дворянской семье среднего достатка. Его детство прошло в атмосфере строгого патриархального благочестия. Отец писателя, Иван Андреевич, был человеком редкой прямоты. Впоследствии сам Фонвизин вспоминал об отце как о человеке «неукротимой честности». Этот образ прямодушного, неспособного на лукавство родителя стал прямой проекцией на одного из центральных персонажей его знаменитой пьесы «Недоросль» — Стародума. Реальный отцовский характер, минуя литературные условности, перетёк прямо в текст почти без изменений.

Образование юный Фонвизин начал в Московской гимназии при университете, куда был зачислен в 1755 году. Его блестящие способности привели к переводу на философский факультет в 1760 году. Однако полного курса он не завершил: осенью 1762 года он оставил учёбу ради переезда в Санкт-Петербург, где начал службу переводчиком в Коллегию иностранных дел. Там он обрёл своих первых покровителей: статс-секретаря Ивана Елагина, а затем влиятельного главу внешнеполитического ведомства графа Никиту Панина, чьим личным секретарём Фонвизин служил долгие годы, дослужившись до чина статского советника.

Драматический талант Фонвизина проявился сразу остро, задиристо, без осторожной пробы пера. Его первая значительная работа — комедия «Бригадир» (1769) — стала сатирическим осмеянием франзузофилии русского дворянства, того бездумного подражания всему иностранному, которое молодой чиновник наблюдал ежедневно в петербургских салонах. Пьеса была прочитана самой Екатериной II и произвела при дворе настоящий фурор: за автором закрепилась репутация смелого обличителя нравов задолго до того, как на сцену вышли Простакова и Митрофанушка. Успех «Бригадира» открыл Фонвизину дорогу к личной благосклонности императрицы — обстоятельство, которое сделает её последующий разрыв с драматургом на почве журнала «Друг честных людей» тем более горьким и показательным.

Личная жизнь драматурга в этот период стабилизировалась благодаря браку. Он женился на Екатерине Ивановне Роговиковой, вдове купца. Сам факт брака и его прочность подтверждаются биографической традицией. Женитьба обеспечила ему материальную независимость, позволявшую сосредоточиться на литературной деятельности без постоянной оглядки на жалованье.

В этот же период граф Панин пожаловал Фонвизину имение в Себежском районе, включавшее деревню Рыково. Эти земли стали для драматурга не только источником дохода, но и местом глубокого творческого уединения. В тишине усадебных аллей Фонвизин обдумывал свои замыслы и работал над комедией «Недоросль», создание которой растянулось почти на десятилетие и завершилось лишь к 1781 году. Типажи Фонвизина настолько обобщены и узнаваемы, что могли быть подсмотрены практически в любой русской провинции той эпохи, однако себежские впечатления от уклада глухого порубежья несомненно легли в общую копилку его наблюдений над дворянским бытом.

По преданию, когда писатель временно сдавал это имение в аренду, он столкнулся с произволом арендатора, злоупотреблявшего властью над крестьянами. Документальных свидетельств этой истории немного, но даже как легенда она говорит о драматурге как о человеке, болезнечно переживавшем социальную несправедливость на собственной земле.

Премьера «Недоросля» осенью 1782 года стала триумфом, каких русская сцена ранее не знала. В ней Фонвизин вывел на подмостки узнаваемую действительность — грубость провинциального дворянства, плоды крепостного права, вырастившего Простакову и её сына такими, какими они вышли на сцену. О пьесе отзывалась даже Екатерина II, а знаменитая фраза князя Потёмкина — «Умри, Денис, лучше не напишешь!» — вошла в предание как высшая похвала, которую могла получить комедия той эпохи.

Однако сразу за вершиной началось стремительное падение. Здоровье драматурга неуклонно слабело. С начала 1780-х годов его преследовали болезни: ряд апоплексических ударов привёл к параличу, к сильным ограничениям в движении и речи — человек, чьё главное оружие было слово, начал терять способность произносить это слово свободно. Болезнь вынудила его отправиться на лечение в Европу, но в чужих госпиталях он не утратил сил работать. Именно в эти годы, около 1788-го, он задумал публицистический журнал «Друг честных людей, или Стародум» — прямое продолжение идей «Недоросля», где старые персонажи должны были вновь заговорить с читателем языком гражданской совести.

Но императрица к концу 1780-х годов уже иначе смотрела на любую вольность печатного слова — тем более после начала Французской революции, испугавшей весь европейский двор. Цензура журнал запретила: он так и не увидел свет при жизни автора. Примерно в то же время Фонвизин написал одно из самых радикальных для своей эпохи произведений — трактат «Рассуждение о истребленной совершенно в России всякого звания рабства», куда более резкий в критике крепостничества, чем сатира «Недоросля». Это сочинение тоже осталось неопубликованным. В эти годы драматург проявил себя как мужественный общественный мыслитель, готовый идти дальше, чем позволяла осторожность придворного литератора.

Вернувшись в Россию, Фонвизин, уже почти лишённый свободы движения, продолжал заботиться о своих псковских землях, пытался облегчить участь своих крестьян. Прогрессирующая болезнь не позволила ему полностью реализовать эти планы.

Последние годы Денис Иванович провёл в Петербурге, почти прикованный к постели. Несмотря на паралич, он диктовал секретарю автобиографическую исповедь «Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях» — произведение исключительной откровенности для дворянской литературы своего времени, которое он так и не завершил. Фонвизин скончался 1 (12) декабря 1792 года, оставив после себя наследие, ставшее классикой русской литературы, и оставив недописанными сразу три текста — журнал, трактат и исповедь, — как будто сама судьба спешила оборвать его на полуслове именно тогда, когда его мысль стала самой смелой и самой зрелой.

Историческая память запечатлела его как беспощадного обличителя пороков, чей острый ум обнажал несправедливости своего времени.



Илл. 9. Писатель и драматург Денис Иванович Фонвизин в рабочем кабинете. Цифровая художественная реконструкция. Выполнена на основе прижизненного живописного портрета XVIII века работы неизвестного художника.

Глава 10. Болотов Андрей Тимофеевич (1738–1833)



В истории русского Просвещения Андрей Тимофеевич Болотов остался выдающимся учёным-естествоиспытателем, зачинателем отечественной агрономии и человеком, который научил страну выращивать картофель и томаты. Однако для развития национальной словесности его имя значит ничуть не меньше. Болотов по праву считается патриархом русской документальной прозы, оставившим после себя колоссальное литературное наследие. В этом гигантском творческом полотне совершенно особое место занимает Псков — дважды прожитая и подробно зафиксированная страница детства.

Биография будущего энциклопедиста взяла свой отсчет 7 (18) октября 1738 года в тульском родовом имении Дворяниново. Судьба дворянского сына в те времена всецело зависела от места службы отца. В 1743 году пятилетнего Андрея привезли в Псков: его отец, полковник Тимофей Петрович Болотов, был определён ревизором для проведения всеобщей подушной ревизии — генеральной переписи населения империи, охватившей страну в 1743–1747 годах. Сам Болотов вспоминал об этом периоде просто: *«Отец мой определен был ревизором во Псков и что мы туда к нему из деревни приехали».*

Псков встретил семью настороженно, но вскоре отношение изменилось. Перепись прошла успешно, а полковник Болотов заслужил уважение горожан. Сам мемуарист подтверждает эту перемену: «Комиссию отправлял он с таким успехом и столь порядочно, что заслужил от всех похвалу и благодарений, сверх того, за хорошие свои поступки и благоразумное поведение сделался он любим и почитаем во всём городе и уезде». Местная дворянская среда расположилась к семье ревизора настолько, что вскоре старшая сестра Андрея, Прасковья, была выдана замуж за псковского помещика Василия Неклюдова, навсегда связав Болотовых с этим краем узами родства.

На основе мемуарных свидетельств самого Болотова можно воссоздать день 17 июня 1744 года, когда в наёмном псковском доме полковника началось систематическое обучение будущего энциклопедиста.

За окном шумел летний Псков, доносились крики лодочников с Великой и колокольный звон с Крома. В прохладной горнице за дубовым столом сидел шестилетний Андрей, испуганно поглядывая на раскрытую немецкую грамматику. Напротив стоял отец — полковник Тимофей Петрович, строгий, подтянутый, в расстёгнутом мундире.

— Ну, Андрюша, — полковник постучал пальцем по кожаному переплёту, — потехе час окончен. Перепись в уезде в самом разгаре, пора и твои мысли в порядок приводить. Негоже дворянскому сыну неучем бегать. Вот тебе учитель, господин Везель. С сего дня слушай его, как меня.

Худощавый немец в строгом кафтане вежливо поклонился, пододвигая к мальчику лист плотной бумаги и гусиное перо.

— Начнём, маленький барин, с букв и произношения, — с сильным акцентом произнёс учитель. — Книга открывает мир. Кто знает языки и счёт, тот видит Божий замысел в каждом колоске.

Мальчик несмело взял перо, обмакнул его в чернила и вывел первую кривую литеру. Полковник удовлетворённо кивнул, отходя к окну, откуда открывался вид на Троицкий собор.

— Учись прилежно, сын, — тихо, но твёрдо добавил отец. — Псковская земля — суровая, рубежная. Здесь каждый камень помнит и войну, и великие труды. Латынь да немецкий устав — вот твой щит в грядущей службе. Помни сей день: семнадцатое июня. Отсюда твой личный поход за знаниями начинается.

Андрей закивал, внезапно почувствовав, как страх уступает место жадному любопытству. Эти первые псковские уроки грамоты, географии и языков легли в основание его будущей энциклопедической образованности. (прим. 4)

Семья оставалась в Пскове до начала 1746 года, когда ревизия была завершена. В 1747 году Андрей вместе с отцом вернулся в эти края проездом: полк перемещался из Прибалтики в Петербург. Они воспользовались случаем навестить Неклюдовых в их имении Опанкино Островского уезда. Болотов зафиксировал эту поездку в отдельной главе своих мемуаров, озаглавленной «Езда во Псков и прибытие в деревню Опанкино».

Жизнь в Пскове, охватившая период от раннего детства до порога отрочества, оказала на будущего мыслителя огромное влияние. Впечатлительный мальчик с жадностью исследовал новые пространства: гулял у стен псковского Крома, наблюдал за торговлей на рынках, впитывал атмосферу северного провинциального быта. На псковской земле формировался его аналитический ум — задолго до Кёнигсберга и сорока томов «Экономического магазина».

Рано осиротев и пройдя через испытания Семилетней войны, Андрей Тимофеевич в 1762 году вышел в отставку и вернулся в Дворяниново, где развернул масштабную писательскую и издательскую деятельность. Он совершил настоящий подвиг в отечественной журналистике: на протяжении десяти лет, с 1780 по 1789 год, редактировал и наполнял статьями «Экономический магазин» — специализированный журнал по сельскому хозяйству и ботанике, вышедший в сорока томах. Болотов стал и одним из пионеров литературы для юношества, издав новаторский труд «Детская философия», где сложные нравственные вопросы излагались в форме доступных бесед.

Но главным литературным памятником Болотова, обессмертившим его имя, стал грандиозный автобиографический свод «Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков», охватывающий период с 1738 по 1793 год и изданный посмертно в 1871–1873 годах. С точки зрения развития словесности писатель совершил прорыв. Его не сковывали жёсткие рамки классицизма. Он писал не для академиков, а для своих детей, поэтому его язык поражает искренностью, разговорной лёгкостью и богатством деталей.

В главах «При ревизии во Пскове» и «Езда во Псков...» Андрей Тимофеевич с документальной точностью восстановил виды города своего детства. Из его записок исследователи узнают, как были устроены псковские улицы в середине восемнадцатого века, как принимала чужаков местная дворянская среда, как решались вопросы службы и чести. Болотовская проза — плотный текст, в котором хроника сливается с личными переживаниями. Он подвергал психологическому анализу поступки людей, не стесняясь детально описывать детские впечатления, тем самым предвосхитив появление великой русской психологической прозы.

Андрей Тимофеевич Болотов скончался 4 (16) октября 1833 года, дожив до девяноста пяти лет. Для книги, посвящённой литературным судьбам Псковщины, фигура этого мыслителя имеет непреходящее значение благодаря его собственноручному письменному свидетель-

ству. Он стал одним из первых русских авторов, кто запечатлел для потомков подлинный, живой облик Псковского края эпохи Просвещения.



Илл. 10. Андрей Тимофеевич Болотов. Цифровая художественная реконструкция облика ученого-энциклопедиста, ботаника и писателя в усадебном яблоневом саду (1790-е гг.). Выполнена на основе прижизненного портрета работы неизвестного художника из государственного музейного фонда.

Глава 11. Болховитинов Евфимий Алексеевич (митрополит Евгений) (1767–1837)



В истории русской культуры Евфимий Алексеевич Болховитинов — в монашестве Евгений — совершил титанический труд. Выдающийся церковный иерарх, он одновременно стал первопроходцем отечественного краеведения, блестящим археографом и первым историографом отечественной словесности. Для Псковской земли его исследовательская деятельность стала бесценным даром, заложившим научный фундамент местной исторической памяти.

Евфимий Болховитинов появился на свет в Воронеже 18 (29) декабря 1767 года в семье бедного приходского священника. Судьба рано лишила мальчика отцовского плеча: с десяти лет он остался круглым сиротой. Отец его, служивший в воронежском Ильинском храме со дня основания церкви, умер в 1776 году, оставив цену семье без средств к существованию. Однако незаурядные природные дарования и жажда знаний открыли перед мальчиком двери лучших учебных заведений империи. Блестяще окончив Воронежскую духовную семинарию, а затем Славяно-греко-латинскую академию в Москве, он параллельно посещал лекции в Московском университете. Погружение в интеллектуальную среду эпохи Просвещения навсегда сформировало в нём скрупулёзного, пытливого учёного.

По окончании академии Болховитинов не сразу взошёл на архиерейское поприще: более десяти лет, с 1788 по 1799 год, он преподавал в родной Воронежской семинарии — учебном заведении, давшем ему путь в большую науку. Именно в эти годы он принял монашеский постриг с именем Евгений и начал восхождение по церковной иерархической лестнице, которое к 1816 году привело его на Псковскую архиерейскую кафедру. Этот пост вобрал в себя весь опыт его пастырского и учёного служения.

Судьбоносное назначение на берега реки Великой состоялось в 1816 году. Прибыв в древний город, новый архиепископ был поражён величием и запущенностью местных древностей. Он смотрел на Псков взглядом историка-документалиста. Древние храмы, полуразрушенные крепостные стены и монастырские архивы стали для него пространством масштабного научного поиска.

Евгений Болховитинов обладал феноменальным исследовательским даром. За шесть лет своего псковского служения он совершил работу, на которую у научных институтов уходили десятилетия. Перебирая свитки и грамоты в архивах духовной консистории и монастырских ризницах, он выстроил из разрозненных фактов систему псковской историографии.

На основе архивных заметок владыки можно реконструировать один из вечеров в сырой ризнице псковского Троицкого собора, когда под спудом старых бумаг решалась судьба забытых летописей.

Свеча тускло освещала кованые сундуки, забитые пожелтевшими свитками. Архиепископ Евгений, аккуратно отряхнув рукав рясы от вековой пыли, бережно развернул полуистлевшую рукопись. Рядом с ним, кутаясь в тёплую мантию, стоял настоятель монастыря.

— Владыко, стоит ли тратить здоровье на сии архивные развалины? — негромко спросил настоятель, кашляя от сухого воздуха. — Бумаги эти вельми ветхи, чернила осыпаются. Мышам на съедение их оставили прежние архиварiусы, да и бог с ними. Нам ли, управителям епархии, в пыли копаться?

Евгений Болховитинов строго посмотрел на собеседника поверх очков.

— Ошибаетесь, отче, — голос архиепископа прозвучал глухо, но веско. — Здесь не пыль, здесь кровь и дух нашей земли. Взгляните на сии строки. Это же третья псковская летопись, считавшаяся утраченной во времена шведского разорения! Послушайте, что пишет безвестный монах: «И придоша немцы к Пскову, и бысть побоище великое на берегах Великой…» Как можем мы молиться о спасении душ, если не помним имён тех, кто эти стены для нас защитил?

Владыка бережно переложил хрупкие бумажные листы на чистый стол и взял перо.

— Мой долг как архиерея — порядок в умах навести, а как историка — спасти сии голоса от забвения. Мы снимем списки со всех грамот. Псков не провинциальная глушь, это великая духовная твердыня, и я заставлю эти свитки заговорить со всей Россией. (прим. 5)

Материалы, собранные им в эти годы, легли в основу монументального труда — «История княжества Псковского», изданного в 1831 году. Эта книга стала в России первым систематизированным и научно выверенным исследованием Псковской земли. Владыка Евгений не просто перечислял даты княжений; он воссоздал панораму жизни вольного вечевого города, связав политическую историю с описанием быта, архитектуры и духовной культуры псковичей.

Его библиография поражает размахом. Именно на берегах Великой он подготовил фундаментальные историко-географические труды: подробнейшее «Описание Псково-Печерского первоклассного монастыря» и описание Святогорской обители. Примечательна судьба первого из этих текстов: он вышел в свет анонимно в 1821 году, и лишь позднейшие изыскания позволили с уверенностью установить его авторство. Тексты владыки отличались ясностью слога, точностью деталей и бережным отношением к документу.

Особое значение псковские труды Болховитинова обрели для последующего поколения русских литераторов. Когда Александр Пушкин, находясь в ссылке в Михайловском, создавал историческую драму «Борис Годунов», именно «История княжества Псковского» и описания Святогорских древностей послужили для поэта главным источником подлинных речевых оборотов и бытовых деталей XVI столетия. Пушкин высоко ценил исследовательский гений митрополита, опираясь на его изыскания как на самый надёжный фактологический фундамент.

Однако масштаб личности Евгения Болховитинова не ограничивался региональной историей. Он стал основоположником истории русской литературы. Его колоссальные справочники — «Словарь русских светских писателей, соотечественников и чужестранцев...» и аналогичный словарь о духовных писателях — стали настольными книгами для целого поколения писателей девятнадцатого столетия. Владыка Евгений первым собрал воедино биографии отечественных авторов, сохранив для потомков имена тех, кто стоял у истоков русской словесности.

В 1822 году архиепископ Евгений был переведён в Киев, где принял сан митрополита Киевского и Галицкого. Там он продолжил археологические и литературные изыскания, но Псков остался его главной научной привязанностью. Современники называли его «русским Миллером», сравнивая с крупнейшим историографом России прошлого века; он состоял в переписке с Г. Р. Державиным и Н. П. Румянцевым. Митрополит Евгений ушёл из жизни 23 февраля (7 марта) 1837 года в Киеве.

Для антологии псковской словесности имя Евфимия Алексеевича Болховитинова — краеугольный камень. Он стал тем человеком, который силой своего литературного и историче-

ского гения поднял Псков из архивной пыли, доказав важность бережного сохранения памяти своего народа.



Илл. 11. Митрополит Евгений (в миру — Евфимий Алексеевич Болховитинов). Цифровая художественная реконструкция образа историка, археографа и церковного деятеля в интерьере кабинета в древних псковских палатах (первая четверть XIX в.). Выполнена на основе прижизненной иконографии из епархиального архивно-книжного собрания.

Глава 12. Булгарин Фаддей Венедиктович (1789–1859)



В истории отечественной словесности девятнадцатого века трудно найти фигуру более одиозную, демонизированную современниками и одновременно влиятельную, как Фаддей Венедиктович Булгарин. Долгое время в критике о нём вспоминали исключительно сквозь призму ядовитых эпиграмм Александра Пушкина, навесивших на писателя ярлык реакционера. Однако этот человек первым в стране создал успешную частную прессу, написал первый русский роман-бестселлер и оставил поразительно точные, социологически выверенные портреты русской провинции, среди которых Псковская губерния занимает особое место.

Будущий издатель начал свой жизненный путь 5 июля 1789 года в имении Пырашево Минского воеводства. При крещении представитель шляхетского рода получил имя Ян Тадеуш Кшиштоф. Эпоха крушения Речи Посполитой бросила его семью в водоворот потрясений, но юноше удалось поступить в петербургский Сухопутный кадетский корпус. Блестяще отслужив в русской императорской армии и пролив кровь под Фридландом, он из-за конфликта с начальством был уволен. В поисках славы молодой офицер вступил в армию Наполеона, сражался в Испании, участвовал в походе на Россию в 1812 году и был удостоен ордена Почётного легиона.

Попав в прусский плен и получив амнистию, он вернулся в Петербург, где произошла его главная метаморфоза: бывший враг империи превратился в фанатичного русского патриота и идеолога монархии. В столице Булгарин проявил невероятное литературное чутьё. До восстания декабристов 1825 года он водил дружбу с Рылеевым, Бестужевым и Александром Грибоедовым. Именно Булгарин сохранил рукопись «Горя от ума» — так называемый булгаринский список остаётся одним из ключевых источников для текстологов. Но после разгрома Сенатской площади писатель окончательно выбрал сторону победителей, пойдя на сотрудничество с Третьим отделением.

В обмен на лояльность он получил беспрецедентную монополию. Основанная им газета «Северная пчела» стала самым влиятельным частным изданием в России, которому разрешалась публикация политических новостей. Одновременно из-под его пера выходит роман «Иван Выжигин», тиражи которого сметались публикой с невиданной скоростью. Булгарин стал властелином дум массового читателя, вызывая ярость элитарных литераторов — Пушкина, Баратынского и Лермонтова.

Пресыщенный столичными интригами журналист весной 1835 года отправился в путешествие из лифляндского Дерпта в Белоруссию и обратно. Маршрут пролегал через Псковщину. Итогом этой поездки стала книга «Путевые заметки на поездке из Дерпта в Белоруссию и обратно, весною 1835 года», изданная в 1836 году, — сегодня она представляет собой ценный исторический памятник псковской земле. Эпиграфом к книге Булгарин взял грибоедовскую строку: «И дым отечества нам сладок и приятен».

Оказавшись в Пскове, Булгарин снимает маску желчного критика. Въезжая в пределы империи со стороны Прибалтики, он с наслаждением меняет медленную лифляндскую почту на русскую тройку: «Вихрем мчатся Русские кони; весело напевает Русский ямщик...» Вид древних крепостей вызывает у него философскую грусть. Глядя на руины Печор, Изборска и Псковского Крома, бывший солдат Наполеона подбирает пронзительную метафору: «Вот Псков, брат Новгорода Великого, друг Ганзы, грозный враг Ливонского ордена? — далеко разбросаны по полям кости великана! Нынешний Псков есть только цветок на могиле прежнего…» Путешественник прямо в тексте своих заметок обращается с призывом к художникам: «Сюда, русские художники! На вас лежит священная обязанность сохранить для потомства разрушающиеся памятники Русской славы...»

На страницах своих заметок Фаддей Венедиктович выступает как глубокий социолог и экономист. Его цепкий ум фиксирует все контрасты губернаторского управления: от новых булыжных тротуаров и тридцати семи каменных церквей на девять тысяч жителей до бедственного положения торговли. Восхищённый порядком, наведённым губернатором Алексеем Никитичем Пещуровым, Булгарин отмечает, как псковские чиновники полюбили службу и стали ездить на неё «как на праздник».

Опираясь на путевые очерки Булгарина, можно воссоздать его встречу с местным купечеством на Торговой площади Пскова, где завязался характерный для той поры спор о провинциальной экономике.

Майское солнце пригревало мощёную площадь. Булгарин в дорожном сюртуке, заложив руки за спину, прохаживался между суконными и льняными рядами. Возле одной из лавок тучный псковский купец в овчинном жилете уныло подпирал щеку кулаком.

— Что ж ты, почтенный, нос повесил? — весело окликнул его Булгарин, остановившись. — Товар у тебя знатный, лён чистый, белый, как лифляндский снег. Отчего же торговли не видно?

Купец тяжело вздохнул, стаскивая картуз перед столичным барином.

— Ох, сударь, какая ныне торговля... Сплошной убыток. Казна пошлиной давит, дороги весной развозит, а под боком ещё и немцы дерптские весь оборот перехватывают. Поодиночке мы тут пропадаем. Сидим по лавкам, друг на друга волком глядим, а прибыли — кот наплакал.

Булгарин прищурился, в глазах его мелькнул азарт прирождённого публициста.

— А ты не унывай и на соседей не пеняй! — Фаддей Венедиктович назидательно поднял указательный палец. — Поодиночке и в Париже пропадёшь. Вы попробуйте торговать компаниями, как на Западе заведено. Сложитесь капиталами, откройте общий торговый дом. Таким образом расторговались англичане, голландцы и американцы. Думаешь, у них земли богаче? Нет, у них ума в союзе больше!

Купец недоверчиво почесал затылок, оглядывая уверенного в себе гостя.

— Компанией, говоришь? Да как же так, барин... У нас ведь всяк сам за себя, родному брату веры нет, а ты — в общий котёл...

— Вот в этом и беда ваша, — отрезал Булгарин, доставая записную книжку. — Пока вы за свои амбары дрожите, весь мир вперёд ушёл. Чем торговать? Да тем, что Бог дал: льном вашим, пенькой, кожами, хлебом! Псковская земля может всю Европу одеть, кабы вы от старой косности очнулись. (прим. 6)

Бродя по псковским рынкам, Булгарин лично общается с крестьянами и мещанами, полагая, что «изустная статистика вернее печатной, а живой человек любопытнее древних стен». Он первым в литературе детально фиксирует уникальную фонетику местных жителей: псковичи «цвякают и дзвякают, и укорачивают многие слова», — описывает костюм псковских купчих и сетует на тотальную безграмотность крестьянства. На жалобы местных торговцев об отсутствии прибыли Булгарин советует им перенимать западный опыт.

Самым примечательным фрагментом псковского дневника стало отношение Булгарина к Пушкину. Находясь на родине своего заклятого литературного врага, Фаддей Венедиктович проявил удивительное благородство: *«Псковская губерния есть родина первого нашего современного поэта, А. С. Пушкина. В псковской своей деревне он написал лучшее свое произведение... Пушкиным Псков выплатил за все прочее, по части просвещения».* Булгарин ошибся, назвав Псковскую губернию «родиной» Пушкина, — поэт родился в Москве, а с Псковщиной его связала михайловская ссылка, во время которой был написан «Борис Годунов». Название трагедии Булгарин прямо не упомянул, добавив: «Мы не называем этого сочинения для избежания всякого спора», — стремясь избежать нового витка публичной перепалки с пушкинским кругом.

Финальная черта под насыщенной биографией Фаддея Булгарина, дослужившегося до чина действительного статского советника, была подведена 13 сентября 1859 года в его имении Карлово близ Дерпта. Сегодня пена литературных скандалов осела, и мы видим в нём блестящего профессионала, который научил Россию читать массовую литературу и оставил бесценное, живое отражение псковской земли в эпоху её трудного пробуждения.



Илл. 12. Писатель, журналист и издатель Фаддей Венедиктович Булгарин в редакции газеты «Северная пчела». Цифровая художественная реконструкция. Выполнена на основе прижизненного литографированного портрета первой половины XIX века.

Глава 13. Дружинин Александр Васильевич (1824–1864)



Середина девятнадцатого столетия стала для русской литературы эпохой тектонических сдвигов и яростных идеологических битв. На страницах ведущих журналов развернулась непримиримая война: революционные демократы требовали от писателей служения обществу и обличения социальных язв, в то время как аристократическая элита отстаивала идеалы вечной красоты. Главным идеологом, знаменосцем и самым блестящим теоретиком этого «чистого искусства» стал Александр Васильевич Дружинин — прозаик, блистательный переводчик Шекспира и Байрона, чья подлинная духовная родина находилась в лесах на севере Псковщины.

Биография Александра Васильевича Дружинина взяла свой отсчет 8 (20) октября 1824 года в Санкт-Петербурге. Получив образование в Пажеском корпусе, он начал карьеру офицера лейб-гвардии Финляндского полка. Там он сблизился с сослуживцем — будущим художником Павлом Федотовым, однако в 1846 году вышел в отставку, променяв военную службу на литературный труд. Уже его дебютная повесть «Полинька Сакс», опубликованная в 1847 году, произвела фурор, заставив читающую Россию заговорить о появлении нового, тонкого психолога. Дружинин вошёл в ядро редакции некрасовского «Современника», где его авторитет был непререкаем. Но задолго до того, как разойтись с радикальным крылом журнала, критик вёл принципиальную войну иного рода — против безраздельного господства гоголевской «натуральной школы», стараясь развенчать культ Гоголя как единственно возможный образец для подражания. Эта глубинная эстетическая позиция и стала подлинным истоком его будущего разрыва с Некрасовым.

Когда столичные баталии и журнальная полемика выматывали критика до предела, он спасался бегством в свой личный Эдем. В Гдовском уезде Псковской губернии у Дружинина было два родовых владения — сёла Марьинское и Чертово, ныне входящие в состав Плюсского района. Детские годы прошли в Петербурге, но летние месяцы с раннего детства он неизменно проводил в Марьинском, в тесном общении с природой: охотился на уток, ловил рыбу, ходил в рощу за грибами, ездил верхом.

История усадьбы началась в 1820 году, когда отец писателя, Василий Фёдорович, приобрёл её с публичных торгов за колоссальную по тем временам сумму в 61 000 рублей. Прежде имение принадлежало надворному советнику Емельяну Чеблокову и носило мрачноватое название «Чёртово Жилое», но новый владелец романтично переименовал его в честь супруги, Марии Павловны, в Марьинское.

Именно здесь, вдали от петербургского смога, формировался эстетический идеал Дружинина. Писатель Дмитрий Григорович, гостивший в имении, вспоминал: «Дружинин описывал мне свою деревню... так красноречиво, что можно было думать, она находится не в северной

полосе России, а на южном берегу Крыма... Дом в Марьинском был старинный, деревянный, нас поместили подле, в небольшом флигеле. За домом опускался к пруду большой яблоневый сад... Владельцы Марьинского были влюблены не только в свою деревню, но пристрастны ко всему Гдовскому уезду».

Сам Дружинин фиксировал эту привязанность в дневнике с почти мистической интонацией: «Осень... есть для меня время силы и живых поэтических ощущений... Чисто русская красота местности поразила меня так, как ещё никогда не поражала. Я понял, какой нерушимой связью привязан я к своему углу, к своей родной земле, к месту, где свершилось моё развитие» (запись от 26 августа 1856 года).

В середине 1850-х годов Марьинское превратилось в настоящую литературную Мекку. Летом 1854 года сюда вырвались из столицы столпы отечественной словесности — Иван Тургенев и Николай Некрасов.

На основе дневниковых записей хозяина усадьбы можно воссоздать один из знойных июльских дней той знаменитой гдовской охоты, когда посреди глухого марьинского болота разгорелся спор, определивший судьбу русской критической мысли.

яжёлый, влажный воздух дрожал над камышами. Иван Тургенев, рослый, в длинных болотных сапогах и промокшей парусиновой блузе, стоял по колено в ржавой воде, опираясь на дорогое английское ружьё. Чуть поодаль, на сухой кочке, примостился Николай Некрасов. Измученный постоянным кашлем, он хмуро перезаряжал двустволку, натянув козырёк охотничьей фуражки на самые глаза. Сам Дружинин, подтянув панталоны, с азартом высматривал в камышовых зарослях подстреленную утку.

— Нет, господа, что ни говорите, а Гдовский уезд — это истинный рай для поэта! — воскликнул Дружинин, утирая пот со лба. — Посмотрите на это небо, на этот чистый, не тронутый столичной копотью ландшафт. Вот где истинная поэзия, очищенная от наносной журнальной грязи и дидактики.

Некрасов едко усмехнулся, не поднимая головы от патронташа.

— Рай-то оно рай, Александр Васильевич, да только для тех, кто сюда отдыхать из пажей приехал. Красота твоя болотная мужику спину ломает. Поэзия, говоришь? А ты загляни в избу к любому из твоих марьинских пахарей. Там вместо вечной красоты — Гоголь в чистом виде. Бедность, полуголодные дети да чиновничий произвол. Хватит с нас рафаэлевских идеалов, литература должна служить обществу, бичевать пороки, ранить сердце читателя!

Тургенев, вскинув ружье на плечо, благодушно, но веско вмешался в разговор своим высоким, почти женским голосом:

— Полно тебе, Николай, везде со своей гражданской скорбью лезть. Натуральная школа Гоголя велика, спору нет, я и сам у неё в долгу. Но если мы превратим словесность в простую газетную прокламацию против крепостного права, мы погубим само искусство. Искусство — оно как эта природа вокруг: самоценно и свободно.

— Вот! — горячо подхватил Дружинин, сделав шаг к друзьям по зыбкому мху. — Иван Сергеевич истину говорит! Гоголь заставил нас смотреть исключительно в грязную лужу. Но ведь над лужей есть звёздное небо! Чернышевский со своими радикалами требует, чтобы поэт водил читателя по анатомическим театрам да рынкам. А я утверждаю: задача критики — защитить Пушкина, Шекспира, вечные каноны прекрасного. Творчество не служанка у политики! Если мы забудем о пушкинской гармонии ради некрасовских социальных язв, русская литература просто превратится в сухой, бездушный отчёт консистории.

Некрасов захлопнул затвор ружья, поднялся с кочки и, прищурившись, посмотрел на усадебный дом, видневшийся за лесом.

— Ладно, чернокнижник, — уже мягче проворчал он, пряча улыбку в усах. — Спорить с тобой на твоём же болоте — дело пустое. Утки улетели, зато словесный барыш сегодня

велик. Веди в дом, вели подавать чай, а не то мы тут окончательно в гоголевскую натуру превратимся. (прим. 7)

Хозяин описал этот визит в дневнике: «Несколько часов тому назад проводил я от себя петербургских гостей, Тургенева и Некрасова, с которыми провёл время, начиная с прошлой пятницы... Они охотились удачно, и слабые их телеса несколько починились в нашем крае, и я развлёкся с людьми... Эти два господина жили в лесу и в болоте, так что иной день нам и часу не приходилось вместе беседовать. В свободные минуты занимались чернокнижной словесностью...» Из-под их пера вышло несколько шутливых стихотворений, написанных коллективно, включая знаменитый экспромт Некрасова:

«Мы, посетив тебя, Дружинин,
Остались в верном барыше:
Хоть с виду ты и благочинен,
Но чернокнижник по душе.
Научишь каждого веселью;
Полуплешивое дитя,
Серьёзно предан ты безделью,
А дело делаешь шутя...»

Спустя несколько лет, в 1859 году, усадьбу посетил и прозаик Алексей Писемский.

Страсть Дружинина к своему имению выплёскивалась и на страницы печати. Его перу принадлежат не только глубокие разборы текстов Пушкина, Толстого и Гончарова (включая знаменитый разбор «Обломова»), но и фундаментальные краеведческие, агрономические труды. В Марьинском он написал большой труд «Флора и Помона Гдовского уезда», изданный в Петербурге, а в 1856 году опубликовал в московском «Журнале садоводства» статью «Заметки о садоводстве в Петербургской губернии». Позже, в романе 1862 года «Прошлое лето в деревне», писатель навсегда обессмертил марьинские пейзажи: «При мызе моей находился сад огромного размера... Яблонь и вишен в нём росло такое множество, что в хороший день съёмщики давали нам за них рублей до тысячи».

Эпоха безмятежных марьинских застолий длилась недолго. Идеологический раскол в «Современнике» развёл бывших друзей по разные стороны баррикад. Некрасов сделал ставку на радикалов Чернышевского и Добролюбова, а Дружинин, не желая мириться с утилитарным подходом к искусству, покинул редакцию, возглавив журнал «Библиотека для чтения». Но главным врагом писателя стала безжалостная болезнь.

Туберкулёз медленно убивал критика. Незадолго до смерти Александр Васильевич совершил свой последний гражданский поступок: он стал главным инициатором создания Литературного фонда — благотворительного общества для помощи нуждающимся писателям и учёным.

Земные дни Александра Васильевича Дружинина оборвались в Петербурге 19 (31) января 1864 года, когда он еще не перешагнул сорокалетний рубеж. Его прах упокоился на Волковском кладбище, но душа навсегда вернулась туда, где среди гдовских лесов и прямых садовых аллей остановилось время его лучшего «прошлого лета в деревне».



Илл. 13. Писатель, литературный критик и переводчик Александр Васильевич Дружинин в рабочем кабинете. Цифровая художественная реконструкция. Выполнена на основе прижизненного фотопортрета 1856 года работы С. В. Левицкого.

Глава 14. Креницын Александр Николаевич (1801–1865)



Золотой век русской поэзии принято ассоциировать с блеском петербургских салонов и триумфами столичных интеллектуалов. Однако у этого времени была и своя теневая, трагическая сторона. После разгрома восстания декабристов в 1825 году многие образованные дворяне, избежавшие сибирской каторги, ушли в глубокую «внутреннюю эмиграцию». Они заперлись в провинциальных усадьбах, променяв государственную карьеру на тишину библиотек. К этой «младшей братии» пушкинской плеяды принадлежал поэт и хранитель архивов Александр Николаевич Креницын.

Александр Николаевич Креницын появился на свет 5 (17) марта 1801 года в родовом имении Цевло Холмского уезда. Отдельные справочники указывают местом его рождения Санкт-Петербург, однако семейные корни и вся дальнейшая судьба поэта неразрывно связаны со Псковской землёй. Его отец, Николай Саввич, носил высокий придворный чин камергера и входил в число богатейших землевладельцев региона. По материнской линии, через Пелагею Николаевну, юноша принадлежал к старинному псковскому роду Философовых. Спустя два поколения эта фамилия даст России известного критика Дмитрия Философова, который оставит о своём дальнем родственнике-поэте глубокий и лестный отзыв.

Получив начальное образование в петербургской гимназии, Александр был переведён в элитный Пажеский корпус. Там произошло событие, определившее его душевный склад: он близко сошёлся с Евгением Баратынским, одним из самых меланхоличных русских лириков. Их дружба оказалась настолько сильной, что спустя годы Баратынский посвятил Креницыну пронзительное элегическое послание:

«Товарищ радостей младых,Которые для нас безвременно увяли,Я свиделся с тобой! В объятиях твоихМне дни минувшие, как смутный сон, предстали!..»

В 1828 году, получив чин поручика, Креницын навсегда снял военный мундир. Возвращаться в родовое гнездо Цевло было бессмысленно: усадьба его детства выгорела дотла ещё в 1821 году. Выйдя в отставку, Александр Николаевич поселился у матери в новоржевском имении Заборье, а к 1830 году окончательно осел в небольшой великолукской деревеньке Мишнево. Здесь он с головой ушёл в литературные занятия, изредка отправляя рукописи в столичные журналы «Славянин» и «Русский инвалид», для чего иногда выезжал в Петербург.

Во время одного из таких выездов он лично познакомился с Александром Пушкиным. Эта связь имела трагическое продолжение зимой 1837 года.

На основе дневниковых свидетельств самого Креницына можно воссоздать глухую петербургскую полночь со 3 на 4 февраля, когда псковский поэт стал свидетелем тайного и поспешного финала пушкинской драмы.

Ледяной ветер гнал колючий снег по набережной Мойки. Площадь перед Конюшенной церковью была мертва и пустынна: полиция оцепила квартал, опасаясь народных волнений. Александр Креницын, подняв высокий воротник шинели, стоял в тени арки, не сводя глаз с церковных ворот. Из полумрака храма показались несколько фигур в жандармских шинелях и гражданских пальто. Они поспешно, словно совершая преступление, вынесли узкий ящик, оббитый рогожей, и начали крепить его к крестьянским саням-розвальням.

К Креницыну робким шагом подошёл один из случайных прохожих — кутающийся в дырявый шарф мелкий чиновник.

— Барин, замерзнете ведь... — шёпотом проговорил он, испуганно озираясь на конных жандармов. — Чего высматриваете в такой мороз? Кого это там, в рогоже-то, увязывают? Никак преступника какого государственного везут под конвоем?

Креницын обернулся, лицо его было бледным и застывшим, а в глазах стояли слёзы.

— Нашего первого поэта везут, любезный, — глухо ответил Александр Николаевич, стиснув кулаки. — Пушкина Александра Сергеевича. Убили его на дуэли два дня назад, а теперь вот... тайком, как вора, из столицы выправляют. Чтобы Россия не дай бог не оплакала своего гения.

Чиновник ахнул, перекрестился троекратно и отступил назад, в темноту. В эту минуту ямщик стегнул лошадей, зазвенел унылый почтовый колокольчик, и жандармский конвой тронулся в путь по направлению к Псковскому тракту.

Креницын долго смотрел вслед удаляющимся саням, пока они не растворились в снежной круговерти. В ту же ночь он занёс в свой дневник короткую, ставшую исторической строку: «В полночь на 4-е февраля смотрел я, как тайком увезли прах поэта в Святогорский монастырь». (прим. 8)

Несмотря на склонность к уединению, Креницын не смог избежать сословных повинностей. В январе 1850 года дворянство Холмского уезда избрало его своим предводителем. Для тонко чувствующего лирика должность окружного судьи и ходатая обернулась настоящей пыткой. Контраст между высокими идеалами и провинциальной рутиной он выплеснул в стихотворении «Париж и Холм»:

«Быть дворянства головойИ ходатаем-судьёйУсладительно и лестно…Но, как здесь страдаю я,Как болит душа моя,Богу одному известно!»

Впрочем, меланхолия Креницына не означала слабости. Когда обстоятельства требовали борьбы, он брался за перо как за оружие. Городничему Великих Лук Л. К. Шульгину он посвятил хлёсткую сатиру «Ай да Луки!»:

«...Знаю также, что в ЛукахПытка просто мостовая,Что ходить там ночью страх,Что фонарь там вещь пустая...»

Главным же гражданским поступком Александра Николаевича стала его архивная деятельность. В годы николаевской реакции, когда за одно лишь упоминание имён декабристов можно было лишиться свободы, Креницын тайно хранил в мишневской глуши личные письма Александра Бестужева и запрещённые стихотворения Кондратия Рылеева. Лишь в конце 1850-х годов, почувствовав общественную оттепель, он передал эти бесценные свидетельства эпохи молодому историку Михаилу Семевскому, сохранив для будущих поколений огромный пласт декабристского наследия.

Жизненный путь поэта завершился 28 августа (9 сентября) 1865 года в родном Мишневе на шестьдесят пятом году жизни. Он был похоронен на погосте Горки на окраине Великих Лук. И хотя в годы Великой Отечественной войны памятник на его могиле был уничтожен, но спасённые им архивы, дневниковые свидетельства и горькие стихи навсегда остались в истории отечественной культуры.



Илл. 14.

Поэт Александр Николаевич Креницын в усадьбе. Цифровая художественная реконструкция. Выполнена на основе прижизненного портрета около 1840 года работы неизвестного автора.

Глава 15. Петров Александр Дмитриевич (1794–1867)



В истории отечественной словесности порой случаются удивительные явления, когда строгая математическая логика сливается воедино с первоклассным художественным даром. Александр Дмитриевич Петров стал для имперской России именно такой фигурой. Войдя в летопись страны как первый русский шахматный мастер, он остался в ней как великолепный прозаик, эссеист и знаток человеческой психологии. Своими книгами он доказал тогдашнему обществу: чтобы описать бурю человеческих страстей, не обязательно отправлять героев на дуэль — достаточно усадить их за деревянную клетчатую доску.

Биографические изыскания историка И. М. Линдера зафиксировали точную дату рождения Петрова: 1 (12) февраля 1794 года. Мальчик появился на свет в селе Бисерево Опочецкого уезда Псковской губернии (ныне в черте города Опочки) в мелкопоместной дворянской семье. Когда вскоре семья перебралась из псковской провинции в Санкт-Петербург, одарённый юноша оказался в самом центре столичной интеллектуальной жизни. В начале девятнадцатого века литературные салоны неразрывно переплетались с интеллектуальными играми. Юный Петров быстро стал желанным гостем в кругу петербургской творческой элиты, поражая литераторов не только аналитическим умом, но и блестящем владением словом.

Его первый крупный триумф состоялся, когда автору исполнилось тридцать лет. В 1824 году Александр Дмитриевич издал книгу «Шахматная игра, приведённая в систематический порядок, с присовокуплением игор Филидора и примечаний на оные». До этого русское дворянство пользовалось исключительно сухими иностранными пособиями. Труд Петрова, написанный чистым, живым и образным языком, читался как увлекательный философский трактат. Псковский самородок обрёл духовную связь со своим великим ровесником — Александром Сергеевичем Пушкиным. В личной библиотеке поэта бережно хранились два экземпляра этого издания.

В один из дней 1827 года, когда ссыльный поэт наконец вернулся в Петербург, в просторном кабинете, заваленном книгами и журналами, Александр Пушкин с азартом расставлял на столике резные костяные фигуры. Александр Петров, смущённо улыбаясь, протянул поэту небольшую книгу в свежем кожаном переплёте с золотым тиснением.

— Примите от меня сею скромную работу, Александр Сергеевич, — негромко произнёс Петров. — Попытался я наш отечественный слог применить к древней королевской забаве. Доселе ведь лишь французы да немцы нас уму-разуму на доске учили.

Пушкин с живостью взял книгу, перелистал несколько страниц, и глаза его блеснули знакомым юношеским огнём.

— Ай да Петров! — воскликнул поэт, бережно погладив обложку. — Да ведь это не просто правила, это настоящая поэзия ума! Послушайте, как написано: «Ладья, аки крепость

непреклонная...» Намного лучше сухих парижских учебников Филидора. Вы, батенька, первый, кто заставил деревянные фигурки говорить на чистом русском языке. Настоящий подарок для всей нашей словесности!

Пушкин тотчас усадил гостя за столик, двигая белую пешку вперед.

— Ну, показывайте же вашу псковскую защиту, Александр Дмитриевич! Проверим, так ли крепка ваша теория против моей столичной атаки! (прим. 9)

Именно эта книга завершалась знаменитой композицией «Бегство Наполеона из Москвы в Париж» — изобразительной шахматной задачей по мотивам сражений 1812 года, где белый царь делает мат чёрному королю — Наполеону. Позже, в 1838 году, в европейском журнале «Паламед» вышла окончательная версия этой задачи, используемая в литературе по сей день. В ней клетка b1 символизирует захваченную Москву, h8 — Париж, белый король воплощает Александра I, а белые кони — стремительную русскую кавалерию. Диагональ от h1 до a8 означает леденящие воды Березины, при переправе через которую русские войска могли пленить французского императора. Задача решается в четырнадцать ходов: Петров сознательно растянул неотвратимость возмездия, заставляя Наполеона агонизировать на глазах у всей Европы.

Подлинная трансформация Петрова-аналитика в Петрова-прозаика произошла в зрелые годы, когда государственная служба забросила его в Варшаву в ранге тайного советника. В сороковые годы девятнадцатого века он начал создавать художественные произведения, которые охотно печатал передовой журнал «Отечественные записки».

На страницах авторитетных изданий Александр Дмитриевич опубликовал серию рассказов «Сцены из жизни шахматных игроков». В этой прозе он предстал как блестящий писатель-психолог. Петрова интересовало не передвижение фигур, а анатомия человеческого азарта. Он мастерски, с тонкой иронией создавал типажи петербургских завсегдатаев кофеен: нервных игроков, холодных стратегов, наивных новичков и отчаявшихся фанатиков. Задолго до появления романа «Игрок» Фёдора Достоевского псковский автор сумел анатомировать разрушительный огонь, который сжигает человека в плену игры.

Финальную точку в судьбе мыслителя и шахматиста 10 (22) апреля 1867 года в Варшаве поставил внезапный апоплексический удар. Мальчик из опочецкой глубинки прожил век, полностью отданный творческому призванию. Он разрушил стереотип о сухости точных расчётов, навсегда подарив русской литературе страницы, где холодная геометрия игры оживает благодаря теплоте русского слова.



Илл. 15. Александр Дмитриевич Петров. Цифровая художественная реконструкция облика первого русского шахматного мастера, теоретика и писателя в интерьере кабинета (середина XIX в.). Выполнена на основе прижизненной гравюры П. Ф. Бореля из центрального исторического архива.

Глава 16. Великопольский (Ивельев) Иван Ермолаевич (1797–1868)



Есть люди, которым история отказывает в отдельной странице, отводя лишь сноску на чужой. Иван Ермолаевич Великопольский — именно такой человек. В энциклопедиях он значится преимущественно как знакомый Пушкина, адресат послания и участник полемики — словно сам по себе он ничего не представлял, а существовал лишь постольку, поскольку однажды сел играть в штос с величайшим поэтом России и проиграл пятьсот рублей.

Но за этой карточной историей стоит жизнь долгая, насыщенная и по-своему поучительная. Жизнь человека, который умудрился вместить в себя армейскую рутину и литературное честолюбие, карточные долги и искреннее осуждение игры, барские замашки и деятельную доброту.

Казанские метрические книги зафиксировали начало жизни Ивана Ермолаевича Великопольского 27 декабря 1797 года. Отец его, генерал-майор в отставке, ушел из жизни рано. Мать, богатая казанская помещица, воспитала сына в достатке и дала ему редкое для дворянской среды образование. В четырнадцать лет он уже стал студентом Казанского университета, в шестнадцать — получил аттестат и уехал в Петербург. Стихи он начал писать в тринадцать, а к моменту, когда юноша надел мундир лейб-гвардии Семёновского полка, его литературные амбиции вполне сложились.

Петербург принял его хорошо. Мать присылала полторы тысячи рублей в год — по тем временам вполне приличная сумма для холостого офицера; он вёл открытый светский образ жизни, вошёл в литературные кружки, стал членом сразу двух обществ любителей словесности. Всё шло как надо.

А потом — карты.

В конце 1819 года он уехал в отпуск и серьёзно проигрался. Мать отказалась платить. Он вернулся в столицу и, движимый той роковой логикой, которая знакома всем игрокам: отыграться, — проигрался ещё сильнее. Тут судьба добавила второй удар: осенью 1820 года взбунтовался Семёновский полк против полковника Шварца с его бессмысленной муштрой. Великопольский в момент бунта был формально в отпуске — но это никого не интересовало. Всех семёновцев раскидали по армейским полкам, и он оказался сначала в Псковском, потом в Староингерманландском.

Десять лет спустя он напишет об этом без всякой позы: «Мне было двадцать лет — вот моё оправдание». Лаконичнее не скажешь.

Полк стоял то в Пскове, то в Великих Луках, то по уездным деревням. Полковое начальство Великопольского не жаловало, и литература стала для него спасением. В псковские годы он написал две комедии и стихотворную повесть. В доме Бибиковых — одном из немногих

псковских мест, где его принимали как своего, — он писал нежные альбомные стихи дочерям хозяина, датированные 1824 годом. Это была та самая жизнь, которую в нескольких десятках вёрст от Пскова, в глуши Михайловского, вёл тогда другой, куда более знаменитый ссыльный.

У Великопольского оставалось родовое имение в Великолуцком уезде, примерно в ста пятидесяти вёрстах от пушкинского затворничества, и общий круг псковских знакомств неизбежно свёл двух поэтов. К весне 1826 года отношения между ними стали достаточно тёплыми, чтобы Пушкин писал ему из своего деревенского заточения: «Вы не совершенно отнимаете у меня надежду Вас увидеть в моей глуши».

А затем случилась знаменитая карточная партия, в которой Великопольский проиграл Пушкину пятьсем рублей. Пушкин потребовал уплаты в стихах:

«Играешь ты на лире очень мило,Играешь ты довольно плохо в штосс».

Деньги следовало передать через общего знакомого Назимова. Платить Великопольскому было нечем.

В один из дней в гостевом флигеле псковского дома вице-губернатора Бибикова за столом, уставленным кофейными чашками, сидел Александр Пушкин, набрасывая на клочке бумаги новые строфы. Дверь резко распахнулась, и вошёл Иван Великопольский. Вид у него был смущённый, но решительный. Он бережно опустил на стол тяжёлую деревянную шкатулку, а следом — огромную стопку книг в кожаных переплётах.

— Вот, Александр Сергеевич, — вздохнул Великопольский, поправляя воротник мундира. — Принёс долг. Но не в ассигнациях, ибо матушка денег более не шлёт. Зато честно, по-литераторски.

Пушкин отложил перо, с любопытством разглядывая гору книг.

— Полно, Иван Ермолаевич, неужто ты решил расплатиться со мной собственной библиотекой? Что сие за фолианты?

— Здесь ровно тридцать пять томов французской Энциклопедии, — гордо ответил Великопольский. — А в шкатулке — матушкины фамильные алмазы. Ежели сочтёшь, что мало, могу добавить ещё пару комедий, одобренных цензурой.

Пушкин расхохотался своим громким, заразительным смехом, перебирая тома.

— Алмазы и Энциклопедия против пятисот рублей в штос! Ну и комедия! Знаешь ли, друг мой, а ведь это замечательный расчет. Я ведь сам не так давно в пух и прах проиграл приятелю рукопись пятой главы «Евгения Онегина». Мы с тобой, кажется, первыми в России превратили словесность и семейные побрякушки в твёрдую валюту! Забираю твои книги, Дидро с Вольтером мне в Михайловском вельми пригодятся. (прим. 10)

Два года спустя этот конфликт неожиданно вспыхнул снова — и уже на страницах печати. В феврале 1828 года Великопольский выпустил пьесу «К Эрасту (Сатира на игроков)». За этим сочинением стоял личный, болезненный опыт, и автор писал совершенно искренне. Однако Пушкин усмотрел в этом выпад против себя и ответил в «Северной пчеле» анонимным колючим «Посланием к В., сочинителю „Сатиры на игроков"», где едко напомнил, что сам проповедник грешит штосом. Великопольский не остался в долгу и сочинил ответные, весьма острые стансы, отправив их Пушкину на отзыв. Но здесь проявилась ирония суровых литературных нравов той эпохи: Пушкин, прекрасно знавший по собственному опыту повадки николаевских цензоров, остудил пыл приятеля. В письме конца апреля 1828 года он честно предупредил Великопольского, что официальный цензурный комитет ни за что не пропустит эти стихи в печать, поскольку устав строго запрещает «личность» — то есть открытый переход на персональные колкости в прессе. Отрезвив товарища этим дружеским советом, Пушкин в том же письме добродушно вспомнил алмазы с Энциклопедией и позвал Великопольского «мирно заняться картами и стихами» при следующей встрече.

В 1827 году Великопольский вышел в отставку. Он женился на Софье Матвеевне Мудровой, дочери знаменитого московского врача, и обосновался в имении Чукавино на Волге. Там

в нём обнаружился помещик прогрессивного склада: он учил крепостных грамоте, устроил школу и больницу, заново отстроив деревню на каменных фундаментах.

Щедрость его была живым откликом на чужую беду. Когда в 1838 году дошёл слух, что Гоголь за границей может угодить в долговую тюрьму, Великопольский немедленно предложил тысячу рублей на подписку в его пользу. Когда год спустя Белинский попросил взаймы пятьдесят рублей, Великопольский настоял, чтобы тот взял сто. Литература не оставляла его до конца: он писал трагедии, драмы и водевили. Был у него и коммерческий проект — новый способ обработки льна, который занял много сил и в итоге разорил его почти дотла.

Жизненный занавес опустился для Ивана Ермолаевича Великопольского в феврале 1868 года — он ушел внезапно, во сне, в Чукавино, куда приехал встретить своё семидесятилетие.

Надгробия Ивана Великопольского у стен Владимирской церкви в Чукавине не пощадило время, а его стихи ушли в глухую тень пушкинской эпохи. Но в истории русской культуры он остался кем-то гораздо более важным, чем просто второстепенный поэт. Он остался её чистой совестью — человеком, который умел проигрывать с достоинством, прощать с лёгкостью, сострадать делом и уйти в вечность в тишине любимой усадьбы, оставив по себе не громкую славу, а тихую, неколебимую человеческую благодарность.



Илл. 16. Иван Ермолаевич Великопольский. Цифровая художественная реконструкция облика русского литератора, прозаика и драматурга в интерьере кабинета (середина XIX в.). Выполнена на основе прижизненной гравюры из центральных исторических архивов.

Глава 17. Вульф Алексей Николаевич (1805–1881)



Иван Ермолаевич Великопольский, с которым мы простились в прошлой главе, не оставил после себя ни состояния, ни литературных шедевров — только щедрость, упорство и добрую память. Материальное благополучие изменило ему при жизни; нравственная репутация — нет. Герой этой главы устроен ровно наоборот. Материально он преуспел. А вот с репутацией всё сложнее — и чем внимательнее в неё вглядываешься, тем яснее понимаешь: сложностей здесь больше, чем принято признавать.

Среди людей пушкинского круга Алексей Николаевич Вульф занимает место особое и двусмысленное. Он не поэт, не критик, не государственный деятель. Он — свидетель. Именно в этом качестве его помнят, за это ценят, и именно поэтому его имя не исчезло в массе провинциальных дворян девятнадцатого века. Но репутация этого человека сложна, и при близком рассмотрении обнаруживает глубокие противоречия между его вкладом в историю литературы и реальным житейским обликом.

Отсчет жизненного пути Алексея Николаевича Вульфа начался 17 (29) декабря 1805 года. Его отцом был секунд-майор Николай Иванович Вульф, тверской помещик и хозяин усадьбы Малинники. После его кончины в 1813 году Прасковья Александровна, мать Алексея, вместе с детьми переехала в своё родовое псковское имение Тригорское, где впоследствии вошла в историю как ближайшая соседка и приятельница Александра Пушкина. Детство Алексея прошло между двумя усадьбами и двумя губернскими укладами — тверским и псковским.

В Дерпте, куда он отправился учиться в 1822 году, Вульф изучал военное дело на физико-математическом факультете. Там он нашёл дружбу с Николаем Языковым, который впоследствии посвятил приятелю девять стихотворений.

Летом 1824 года Вульф вернулся на каникулы в Тригорское и обнаружил нового соседа. Пушкин прибыл в Михайловское месяц назад, обозленный после одесской ссылки, полный энергии и желания работать, но не отказывавший себе в прогулках к соседям. Знакомство состоялось немедленно, дружба вспыхнула быстро. Вульф потом называл этот союз дружбой «в науке страсти нежной». Сердечный интерес Пушкина в Тригорском был обращён преимущественно к сёстрам Алексея — в частности, к Евпраксии, которой поэт, по семейному преданию, делал предложение. Она предпочла барона Вревского, так что Вульф в этой истории оставался партнёром по холостяцким беседам и совместным наблюдениям за провинциальным бытом.

Жарким июльским полуднем 1825 года два приятеля прохаживались по тенистой липовой аллее тригорского парка, лениво сбивая тростями головки чертополоха.

— Признайся, Алексей, — Пушкин остановился, щурясь от солнца, пробивавшегося сквозь листву, — твоё дерптское студенчество высушило тебе душу математикой. Ты

смотришь на здешних уездных девиц как на геометрические фигуры, кои надобно рассчитать по правилам артиллерийской осады.

Вульф тонко и холодно усмехнулся, поправляя щегольской шейный платок.

— А ты, Александр, напротив, слишком много тратишь поэтического пороху на обыкновенную провинциальную скуку. Твоя страсть — это буря в стакане воды. Для тебя любовь — неизменно драма, гимн, стихи в альбом. Мой же дерптский метод куда практичнее: женщина есть крепость, у неё есть слабые фланги и тыловые укрепления. Нужно лишь верно выбрать время для штурма, не отвлекаясь на сентиментальные вздохи.

Пушкин пылко взмахнул руками, и в глазах его мелькнула насмешка.

— Метод! Осада! Да ведь ты крадёшь у самого себя чистейшую радость безумства! Из твоих дерптских записок выйдет не роман, а сухой интендантский отчёт. Любовь жива смутным сном, увяданием чувств, а твой хладный опыт убивает саму поэзию страсти. Ты берёшь от Тригорского лишь плоть, совершенно не замечая его души.

— Пусть так, — спокойно ответил Вульф, глядя в сторону усадебного дома. — Но моя плоть осязаема, а твоя поэзия улетучится, как только кончится ссылка. Зато мы оба черпаем из этого псковского омута всё, что можем найти. Каждому своё, поэт. (прим. 11)

Главное, что Вульф оставил после себя, — дневник, который он вёл с перерывами с 1827 по 1842 год. Изданный под подзаголовком «Любовный быт пушкинской эпохи», он стал для пушкинистики незаменимым источником. Там сохранились живые, не прошедшие цензуру пушкинские реплики и бытовые подробности, которые официальные мемуаристы не зафиксировали бы.

Но здесь возникает вопрос о природе этого документа. Что это — бесценное свидетельство или циничная хроника чужих слабостей, записанная человеком, не заботившимся о репутации своих персонажей? Викентий Вересаев, критик и пушкинист, человек в своих оценках резкий, но не легкомысленный, увидел в Пушкине и Вульфе, судя по их же собственным записям, «две тёмные личности, забравшиеся на барский двор и вынесшие оттуда всю грязь, какую могли найти».

Двоюродная племянница Алексея Николаевича, Ольга Николаевна Вульф, оставила об авторе воспоминания, которые пушкинисты цитируют осторожно. Мемуары писались спустя полвека, по памяти, не без родственных счётов, и признаны субъективным изложением. И все же замолчать это свидетельство невозможно.

Ольга Николаевна указывает, что Вульф был нелюбимым племянником, но «сумел при разделе так обойти доверчивых стариков, что оказался пайщиком в каждой части». Когда его попрекали — «жмурился только и холодно заявлял: „Где рука, там и голова“». Сестра его, Анна Николаевна, всю жизнь прожила в его доме в Малинниках, перенося холод и скудную пищу — «брат Алексей Николаевич отличался крайней скупостью». К крепостным был «жестко сух», и «его права первой ночи известны далеко вокруг». После его смерти, пишет мемуаристка, она «никогда не слыхала таких проклятий про умерших, как в народе всеобщий говор».

Этот тяжёлый портрет написан племянницей, знавшей человека в повседневной жизни. Здесь важно избегать крайностей: не объявлять Вульфа законченным негодяем, но и не отмахиваться от мемуаров как от навета. Человек, оставивший записи об эпохе, вполне мог в непоэтической жизни оказаться скуп, холоден и нечист в делах. Литературное значение источника и нравственный облик автора не обязаны совпадать.

Между дерптской юностью и смертью уместилась вполне стандартная дворянская биография. Служба в кавалерии — начал юнкером в Рижском драгунском полку. Польская кампания 1831 года — во Владимирском уланском. Затем отставка и возвращение в усадьбы: Малинники и тригорские окрестности, хозяйство, провинциальная жизнь.

Он пережил Пушкина на сорок четыре года. За это время романтический ореол их общей молодости превратился в историю, а история — в канон. Вульф стал частью канона еще при

жизни — свидетелем, которого берегут и цитируют. Дневник он прекратил вести в 1842 году, почти за сорок лет до кончины. Алексей Николаевич Вульф скончался 17 (29) апреля 1881 года в своем имении Тверской губернии.

Он не легенда и не злодей, а источник с изъяном, как большинство документов. Об этом изъяне стоит говорить, чтобы читать его дневник с открытыми глазами и понимать: ни одна репутация из энциклопедической статьи не переживает встречи с живым человеком, который стоял слишком близко.



Илл. 17. Алексей Николаевич Вульф. Цифровая художественная реконструкция усадебного облика мемуариста и интерьера кабинета. Выполнена на основе прижизненного акварельного портрета работы неизвестного художника из государственного пушкинского музейного фонда.

Глава 18. Ткачёв Пётр Никитич (1844–1886)



Алексей Николаевич Вульф, о котором шла речь в прошлой главе, был человеком, чья литературная ценность существовала отдельно от его нравственного облика. Герой же этой главы устроен ещё сложнее: здесь литература, политика и личность неразделимы настолько туго, что распутать их — задача почти невозможная.

В беспокойном пейзаже русской общественной мысли девятнадцатого века Пётр Никитич Ткачёв вошёл в историю как идеолог революционного радикализма. Биографические источники расходятся в определении его происхождения: одни называют его выходцем из обедневшей дворянской семьи, другие — из купеческой среды, где отец получил личное дворянство за выслугу лет. Эта сословная неопределённость примечательна для человека, всю жизнь стремившегося разрушить прежние социальные рамки.

Пётр Ткачёв появился на свет 29 июня (11 июля) 1844 года в небольшом селе Сивцово Великолукского уезда. Отправившись в столицу, он поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, но быстро понял, что его призванием станет не адвокатская практика, а острое публицистическое слово. Уже в семнадцать лет за участие в студенческих волнениях 1861 года он оказался в казематах Кронштадтской крепости.

Его литературный дебют состоялся рано: в 1862 году восемнадцатилетний автор опубликовал первую статью в журнале «Время» братьев Достоевских. Вскоре он стал заметной фигурой в радикальной прессе, сотрудничая с журналами «Русское слово» и «Дело», скрываясь от цензуры под десятками псевдонимов.

Ткачёв не был просто критиком мещанского уклада: он последовательно и открыто обосновывал право узкого, законспирированного революционного меньшинства на захват власти и последующую диктатуру над обществом. Это учение получило в исторической науке название русского бланкизма. Логика «критически мыслящего меньшинства», действующего от имени народа, но без его прямого участия, стала важным интеллектуальным предвестием радикальных политических практик грядущего двадцатого века.

Ещё более тёмное пятно на этой биографии — «нечаевское дело» 1869 года, в которое Ткачёв оказался вовлечён и материалы которого легли в основу романа «Бесы» Фёдора Достоевского. Организатор подполья Сергей Нечаев убил собственного соратника, студента Иванова, заподозрив того в предательстве. Степень личной причастности Ткачёва к деятельности этого заговорщического ядра до сих пор вызывает дискуссии среди исследователей, но сам факт его идейной связи с нечаевским кругом бесспорен.

После следствия и суда Ткачёва в 1872 году выслали под надзор полиции на родину, в Сивцово, откуда зимой 1873 года он бежал за границу. В эмиграции он развернул кипучую

издательскую деятельность, выпуская в Женеве журнал «Набат» и формулируя свою доктрину без прежней оглядки на цензуру.

В один из дождливых вечеров начала 1880-х годов в тесной парижской мансарде, заваленной стопками черновых оттисков газет, Пётр Ткачёв лихорадочно правил гранки. Лицо его было серым от чахотки и бессонных ночей, глаза горели лихорадочным блеском. Стук в дверь прервал работу — на пороге стоял молодой русский публицист, только что прибывший из России.

— Извините за поздний визит, Пётр Никитич, — гость нерешительно переступил порог, оглядывая нищую обстановку. — Привёз вам весточку от наших великолукских земляков. Но, признаться, шёл к вам со страхом. В России теперь только и говорят, что о вашем «Набате». Вы ведь требуете не просто реформ, вы призываете к насилию, к захвату власти горсткой заговорщиков! Неужто вы верите, что свободу можно принести на острие штыка, не спрашивая сам народ?

Ткачёв резко швырнул оттиск на стол и поднялся, кутаясь в поношенный халат.

— Народ, любезный мой, консервативен по своей природе, — голос его сорвался на глухой кашель. — Если мы будем ждать, пока русский пахарь проснётся и поймёт свою выгоду, Романовы будут править вечно. Наша задача — не просить у монархии уступок, а нанести удар в самое сердце. Да, меньшинство! Спасти народ от самого себя может только организованная, безжалостная сила, которая возьмёт государственную машину в свои руки и железной волей перестроит этот прогнивший быт.

Гость покачал головой, отступая к дверям.

— Но ведь эта железная воля, Пётр Никитич, неизбежно превратится в новую, ещё более страшную тиранию. Вы задушите всякое живое слово ради своей абстрактной теории!

— Словесность — служанка дела, — отрезал Ткачёв, вновь садясь за стол. — Когда дом горит, не рассуждают о чистоте слога, а бьют в набат. Пусть нас назовут деспотами, но история оправдает тех, кто имел мужество взять грех насилия ради общего спасения. Идите, молодой человек, и передайте в Великие Луки: время мирных бесед кончилось.(прим.12)

Финал его жизни был трагичен. 1 января 1881 года в Париже скончался французский революционер Огюст Бланки. Ткачёв и его соратники готовились произнести речи у могилы, но полиция не допустила их к месту погребения. Текст выступления Ткачёва сохранился в посмертном номере бланкистской газеты «Ni dieu, ni maître»: «Ему, его идеям, его самоотвержению... обязаны мы значительной частью тех успехов, которые ежедневно одерживает революционная партия в России... Он наш учитель и образец в великом искусстве заговорщицкой деятельности».

Исследователь Б. Горев, разбиравший эту речь десятилетия спустя, отмечал в ней иронию: Ткачёв щедро приписывал Бланки те теоретические достижения, в частности концепцию революционной диктатуры, которые в развёрнутом виде принадлежали ему самому, а не его французскому кумиру.

Психика Ткачёва не выдержала перенапряжения — годы тюрем, эмигрантская нищета и ночной труд подорвали его здоровье. Последние годы жизни он провёл в парижской психиатрической лечебнице святой Анны. Мятежный путь Петра Никитича Ткачёва навсегда оборвался в Париже 23 декабря 1885 (4 января 1886) года на сорок втором году жизни.

Его судьба не укладывается в удобную схему ни жертвы режима, ни злодея-теоретика насилия. Он был и тем, и другим одновременно — блестящим литературным критиком и человеком, чьи политические идеи предвосхитили самые мрачные эксперименты следующего столетия. Как и в случае с Вульфом, вынести из этой главы стоит одно: восхищение чьим-то умом никогда не должно означать молчание о том, куда этот ум был направлен.



Илл. 18. Петр Никитич Ткачев. Цифровая художественная реконструкция облика идеолога народничества и публициста в интерьере подпольной типографии (конец 1860-х — начало 1870-х гг.). Выполнена на основе прижизненного фотопортрета из государственного историко-политического архивного фонда.

Глава 19. Корвин-Круковская (Жаклар) Анна Васильевна (1843–1887)



Судьбы некоторых русских женщин девятнадцатого столетия обладают таким мощным драматическим зарядом, что оставляют далеко позади сюжеты самых захватывающих романов. Древняя дворянская фамилия даровала отечеству двух выдающихся сестёр: младшая, Софья Ковалевская, покорила мир точных наук, а старшая, Анна, вписала своё имя в историю изящной словесности и революционных потрясений Европы.

Московские архивы хранят запись о начале жизненного пути Анны Васильевны Корвин-Круковской 6 (18) октября 1843 года. Её детство и юность прошли в родовом имении Полибино Невельского уезда. Провинциальный усадебный уклад взрастил её как личность и как писательницу: здесь, в тишине огромного дома, среди богатейшей библиотеки, зародилась её тяга к литературному труду.

Мечта о писательском поприще натолкнулась на глухую стену патриархальных предрассудков: отец, суровый генерал-лейтенант Василий Корвин-Круковский, считал литературное ремесло делом, недостойным аристократки. Тем не менее тяга к творчеству оказалась сильнее родительских запретов. В начале 1860-х годов Анна тайно переправила рукопись повести «Сон» в столичный журнал «Эпоха», скрывшись за псевдонимом «О. Ю-в». Руководителем литературного отдела журнала был Фёдор Достоевский, и он, прочитав рукопись, был потрясён зрелостью и глубиной текста — повесть пошла в печать, а вскоре был опубликован и второй рассказ, «Михаил».

Когда завеса тайны приоткрылась, между юной писательницей и знаменитым романистом завязалась переписка, переросшая в глубокое личное увлечение.

Сырым петербургским вечером 1865 года в скромной гостиной Достоевского горели свечи, бросая длинные тени на исписанные листы. Фёдор Михайлович лихорадочно прохаживался по комнате, то и дело останавливаясь перед Анной, сидевшей в кресле. Юная полибинская барышня казалась хрупкой, но во взгляде её сквозило упрямство.

— Анечка, ангел мой, вы не понимаете, что мы предназначены друг другу! — Достоевский горячо схватил её за руки, голос его дрожал от искреннего надрыва. — Ваша повесть «Сон» — это ведь не просто ученический набросок, это крик живой, страдающей души. Я чувствую ваш гений, я преклоняюсь перед ним! Будьте моей женой, станьте моей опорой в этом каторжном литературном труде.

Анна мягко, но решительно высвободила пальцы, лицо её оставалось бледным.

— Фёдор Михайлович, вы великий человек, и сердце моё разрывается от боли, но я не могу сказать вам «да». Вы ищете во мне преданную ученицу, тень, которая растворится в вашем огромном, пугающем мире. А я хочу дышать свободно. Мой «Сон» — это лишь первый

шаг. Если я останусь с вами, я перестану принадлежать самой себе, стану лишь персонажем ваших будущих романов. Наш союз сожжёт меня дотла.

Достоевский отступил, лицо его потемнело от нахлынувшей обиды.

— Вы горды, Анна Васильевна... Вы бежите от страданий, без которых истинное искусство невозможно. Ну что ж, ищите свою свободу. Боюсь только, что мир за пределами моих книг окажется к вам куда более жестоким, чем вы думаете. (прим. 13)

Отказ Анны стать женой Достоевского определил её дальнейшую судьбу. Оставив петербургские салоны, она уехала во Францию, где в революционных кругах познакомилась со сподвижником Ткачёва — бланкистом Виктором Жакларом. Вчерашняя полибинская аристократка оказалась в самом центре Парижской коммуны 1871 года, ухаживала за ранеными на баррикадах и вошла в Комитет бдительности XVII округа.

Когда Коммуна пала, версальский трибунал вынес супругам жестокие приговоры: Виктора приговорили к смертной казни, а Анну — к пожизненной каторге. От этой участи их спасло совместное вмешательство отца и брата Анны, которым осенью 1871 года удалось организовать супругам побег из тюрьмы, за чем последовала долгая эмиграция.

Анна Васильевна до конца дней не расставалась с пером, занимаясь публицистикой и переводами. В 1887 году, когда французские власти предписали Жаклару покинуть страну, чета — Анна к тому времени была уже тяжело больна — вернулась в Париж после краткого пребывания в России. Там, в Париже, 14 сентября 1887 года сердце Анны Васильевны Жаклар остановилось после тяжёлой операции на сорок четвёртом году жизни.

В антологии «Журавли на Великой» её фигура занимает законное место. История её жизни доказала, что усадебная культура псковских земель способна была взращивать не только покорных созерцательниц, но и мятежных творцов, готовых положить на алтарь убеждений собственную свободу.



Илл. 19. Анна Васильевна Корвин-Круковская (Жаклар). Цифровая художественная реконструкция облика писательницы в библиотеке родового имения Полибино. Выполнена на основе прижизненного фотопортрета 1860-х годов из семейного архивного собрания.

Глава 20. Яхонтов Александр Николаевич (1820–1890)



В истории русской культуры Псковского края Александр Николаевич Яхонтов выделяется удивительно цельной судьбой. Если его предшественники на страницах этой книги — Ткачёв, Вульф, Жаклар — вынуждали всматриваться в тёмные, изломанные стороны блестящих умов, то Яхонтов представляет собой редкий случай. Его биографию по мере проверки документов хочется не разоблачать, а, напротив, дополнять живыми красками. Ошибки и неточности в её бытовании встречаются, но масштаб личности от этого не уменьшается.

Биография будущего поэта берет свое начало 28 июня (10 июля) 1820 года в Санкт-Петербурге. Его отец, Николай Александрович Яхонтов, происходил из старинного псковского рода и во время Отечественной войны 1812 года служил секретарём и переводчиком при фельдмаршале Кутузове. Эта семейная деталь придаёт внутренний вес преданию, связанному с родовым имением Камно под Псковом. Оно оживает в семейных хрониках осязаемой картинкой.

Летний день 1826 года в Камно выдался знойным. Шестилетний Саша Яхонтов сидел на деревянной скамье в тени старых лип, сжимая в руках тетрадь в кожаном переплёте. Из дома послышались громкие голоса, смех, и на аллею вышел отец в сопровождении гостя. Гость был невелик ростом, порывист в движениях, с густыми бакенбардами и необычайно живыми, быстрыми глазами. На нём был просторный сюртук, а в руке он небрежно держал тяжёлую трость.

— А вот и мой преемник, Александр Сергеевич, — улыбнулся Николай Александрович, указывая на сына. — Тоже марает бумагу, переводит с немецкого.

Пушкин остановился, оперся на трость и с прищуром посмотрел на притихшего мальчика. В его взгляде не было взрослого снисхождения — только любопытство.

— Переводит? Это похвально, — голос поэта звучал глуховато, но отчётливо. — А ну-ка, тезка, покажи, что у тебя там? Не робей. Поэзия глухих не терпит.

Саша поднялся, чувствуя, как бьётся сердце. Открыв тетрадь на случайной странице, он начал читать наизусть робкие, ещё неровные строчки своего первого перевода из Шиллера. Пушкин слушал внимательно, чуть наклонив голову и в такт стиху покачивая тростью. Когда мальчик закончил, поэт стремительно подошел, положил руку ему на плечо и серьёзно произнес:

— Слог твой чист, малый. Держись Пскова, здесь сама земля стихами дышит. Да язык французский не забывай — немецкая муза без французской ясности тяжеловата бывает.

Гости пошли дальше к реке, а маленький Саша долго смотрел им вслед, до боли сжимая тетрадные листы. Этот день определил всё его будущее. (прим. 14)

Мемуаристы и краеведы расходятся в датах этой встречи, а сам факт поэтического дебюта перед первым поэтом империи остаётся лишь красивым преданием. Однако главное бесспорно: Яхонтов «мерил себя по Пушкину» до конца своих дней.

Образование он получил образцовое: сначала Благородный пансион в столице, затем, с 1832 года, — Царскосельский лицей. Там он писал для рукописных лицейских журналов и осваивал переводы немецких классиков. После выпуска в 1838 году Яхонтов недолго числился в петербургском Департаменте сельского хозяйства Министерства государственных имуществ. Столичная чиновничья карьера его тяготила. В 1851 году он принял решение, определившее его уникальный статус: вернулся на родину и прожил в Псковском уезде безвыездно почти сорок лет, до самой кончины. Ни один русский литератор второй половины XIX века не был связан с провинцией настолько прочно и органично.

В Пскове развернулась его масштабная общественная деятельность. Задолго до манифеста 1861 года Яхонтов участвовал в разработке проектов освобождения крестьян в губернском комитете. Десять лет он возглавлял Псковскую мужскую гимназию, последовательно искореняя казённую муштру и выстраивая редкие по тем временам доверительные отношения с учениками. Земляки выбирали его уездным предводителем дворянства и председателем земской управы — фактически он возглавил местное самоуправление. В Камно Яхонтов ставил агрономические опыты, пропагандировал использование торфа вместо тотальной вырубки лесов и регулярно получал медали на сельскохозяйственных выставках.

При этом литературы он не оставлял никогда. Он переводил Лессинга, Гёте, Шиллера, Гейне и Мицкевича, причём делал это настолько качественно, что современные исследователи ставят его переводческую работу в один ряд с творчеством таких поэтов, как Майков, Хомяков, Некрасов и Фет. Собственные стихи — лирические, философские, патриотические, народнические — составили изданный в 1884 году том «Стихотворения Александра Яхонтова». Именно благодаря Некрасову он получил возможность печататься в «Отечественных записках» — и эта связь оказалась не единственной нитью, соединявшей Яхонтова с большой литературной Россией: известный псковский краевед Николай Окулич-Казарин ставил его в один ряд с «лучшими людьми Пскова» рядом с бывшим декабристом Матвеем Назимовым, и именно через Яхонтова Назимов передал Некрасову свои воспоминания.

Своей главной обязанностью Яхонтов считал просвещение простого народа. Он подготовил и издал путеводитель «Город Псков и его окрестности» (1886), адаптировал для грамотных крестьян классические сюжеты вроде «Робинзона Крузо».

Долгая и плодотворная жизнь Александра Николаевича Яхонтова завершилась 12 (24) октября 1890 года в родном Камно, и был он похоронен на местном кладбище, у стен церкви Святого Георгия. В истории края он остался эталоном русского провинциального интеллигента — человека, для которого перевод Гёте и руководство земским хозяйством составляли одну гармоничную и цельную судьбу.



Илл. 20. Александр Николаевич Яхонтов. Цифровая художественная реконструкция облика поэта и переводчика (вторая половина XIX в.). Выполнена на основе семейного фотопортрета из австрийского ателье П. Покорного (Вена).

Глава 21. Ковалевская Софья Васильевна (1850–1891)



Мировая наука знает Софью Ковалевскую прежде всего как первую женщину-профессора математики. Однако за академическим признанием, среди цифр и теорем, скрывался литературный дар глубокого психологического уровня. Её художественная проза заслужила высокую оценку современников, а истоки этого таланта неразрывно связаны с псковской землей, хотя эта связь определилась не сразу.

Свой жизненный путь дочь артиллерийского генерала Василия Корвин-Круковского начала 3 (15) января 1850 года в Москве. Первые восемь лет её жизни прошли в светской столичной среде. Лишь в 1858 году семья переехала на постоянное жительство в родовое имение Полибино Невельского уезда. Здесь, в большом господском доме, окруженном озерами, началось взросление будущей учёной. Литературная атмосфера присутствовала в семье изначально: её старшая сестра Анна уже публиковала свои рассказы в журналах Фёдора Достоевского. Пока старшая искала признания в большой литературе, младшая создавала собственный внутренний мир…

Осенние сумерки года быстро сгущались над Полибиным. Одиннадцатилетняя Софа сидела на полу в своей детской комнате, поджав ноги и почти касаясь носом стены. Комната осталась недоремонтированной: обоев с изысканным узором на всю усадьбу не хватило, и угловую спальню временно оставили под черновым слоем в ожидании новой партии тапетов. Поблескивающие от клея листы, пошедшие в дело, оказались лекциями профессора Остроградского о дифференциальном и интегральном исчислении, купленными отцом в молодости.

В дверь тихо постучали. Вошла Анна, кутаясь в шаль.

— Софа, ты опять здесь в темноте? Отец сердится, что ты пропускаешь чаепитие. Что ты разглядываешь на этих старых бумагах?

Девочка не обернулась, её палец медленно скользил по выцветшим типографским знакам, формулам и странным крючкам интегралов.

— Анюта, посмотри сюда, — прошептала Софа, и в её глазах отразился огонек свечи, которую сестра держала в руке. — Эти знаки... они похожи на тайный шифр. Я не понимаю слов, но чувствую, как они спорят друг с другом и складываются в какой-то удивительный порядок. Будто это стихотворение, только записанное не буквами, а мыслями.

Анна усмехнулась, подошла ближе и погладила сестру по плечу.

— Математика — сухая вещь, Софа. В ней нет души, одни расчеты. Вот Достоевский пишет о живых людях, о страсти, о Боге. Вот где настоящая глубина.

— Ты не права, — Софья решительно поднялась с пола и посмотрела на сестру со свойственной ей с детства упрямой серьезностью. — Нельзя быть математиком, не имея

в душе поэтического чувства. Эти формулы — такая же музыка, просто её нужно уметь услышать. Вот увидишь, я прочту этот шифр.

Она еще раз окинула взглядом стену, покрытую математическими иероглифами. В тот вечер детская комната в Полибине окончательно перестала быть для нее просто спальней, превратившись в окно в неизведанный мир. (прим. 15)

Для Ковалевской никогда не существовало барьера между точными науками и искусством. Она воспринимала абстрактные величины как чистую поэзию формы. Однако путь к независимости требовал жертв. Фамилия, под которой она вошла в историю, принадлежала её мужу, биологу Владимиру Ковалевскому. В 1868 году они вступили в брак, который изначально задумывался как фиктивный — в ту эпоху это был единственный легальный способ для молодой женщины уехать учиться за границу, минуя запрет отца. Со временем этот союз перерос в глубокую привязанность, у них родилась дочь, но финансовые неудачи и депрессия привели Владимира Онуфриевича к самоубийству в 1883 году. Эта драма навсегда омрачила жизнь Софьи Васильевны.

Получив профессорскую кафедру в Стокгольмском университете и премию Парижской академии наук, Ковалевская на вершине признания обратилась к серьезной литературе. Её тексты вызывали восхищение Антона Чехова. В 1884 году она написала социальную повесть «Нигилистка» (за рубежом выходила под названием «Вера Воронцова») — точный портрет девушки, ломающей патриархальные устои ради интеллектуальной свободы.

Главным триумфом Ковалевской-писательницы стала повесть «Воспоминания детства», опубликованная на русском языке в 1890 году. В ней с поразительной точностью воссозданы пейзажи Полибино и уклад провинциального дворянского гнезда. Критики обоснованно сравнивали её слог с автобиографической прозой Льва Толстого. В драматургии она также выступила новатором: написанная в соавторстве со шведкой Анной Шарлоттой Леффлер пьеса «Борьба за счастье» предлагала два параллельных варианта развития одного сюжета — «Как это было» и «Как это могло бы быть», предвосхитив литературные приемы XX века.

Ковалевская свободно писала на русском, немецком, французском и шведском языках. Её земной путь оборвался внезапно: 29 января (10 февраля) 1891 года крупозное воспаление легких навсегда остановило сердце сорокалетней исследовательницы в Стокгольме. Она осталась в культуре редким феноменом — человеком, в котором строгость математической мысли соединилась с тонкостью литературного слова, выросшего из уединенной атмосферы псковской усадьбы.



Илл. 21. Софья Васильевна Ковалевская. Цифровая художественная реконструкция облика первой в мире женщины-профессора математики и писательницы в рабочем кабинете (1880-е гг.). Выполнена на основе прижизненного фотопортрета из государственного историко-научного архивного фонда.

Глава 22. Семевский Михаил Иванович (1837–1892)



Михаил Иванович Семевский совершил для русской культуры мало кем повторенный подвиг — он фактически вырвал из небытия частную историю двух столетий. Выходец из псковских земель, оставивший военную службу ради работы с прошлым, он совместил в себе дотошность архивиста и чутье первоклассного редактора, способного превратить сухой документ в живую литературу.

Истоки судьбы этого неутомимого исследователя ведут в село Федорцево Великолукского уезда (ныне Куньинский район Псковской области), где 4 (16) января 1837 года мальчик из семьи небогатого дворянина начал свой жизненный путь. По сословной традиции его определили в Полоцкий кадетский корпус, затем — в Константиновский. До 1861 года Семевский служил в лейб-гвардии Павловском полку, успев недолго прослушать курс лекций в Московском университете, но офицерская карьера уступила место страсти к осмыслению прошлого.

Выйдя в отставку, он занимался крестьянским вопросом в Государственной канцелярии, избирался гласным Санкт-Петербургской городской думы, входил в Археографическую комиссию. Его первые книги — «Слово и дело!» (1861), «Царица Прасковья», «Царица Катерина Алексеевна» — продемонстрировали редкий дар: Семевский умел оживлять сухие архивные протоколы, превращая их в захватывающую историческую прозу.

В 1870 году он основал журнал «Русская старина», ставший главным делом его жизни. Это издание превратилось в грандиозный архив империи. Семевский лично рассылал сотни писем и объезжал провинциальные имения, убеждая владельцев расставаться с семейными тайнами ради сохранения национальной истории.

Осенний день 1874 года в усадебном доме под Торопцем близился к вечеру. В полутемной кладовой, пахнущей сухими травами и мышами, Семевский, сбросив пальто, стоял перед массивным кованым сундуком. Рядом с ним пожилая помещица испуганно перебирала связку ржавых ключей.

— Михаил Иванович, помилуйте, зачем вам эти старые бумаги? — вздыхала она. — Дед мой, капитан-поручик, писал это в Гатчине при Павле Петровиче. Там лишь приходные книги да домашняя скука. Кому это надобно в Петербурге?

Семевский, не слушая, аккуратно принял из её рук связку, подобрал нужный ключ и с натужным скрипом повернул его в замке. Крышка поддалась. Сверху лежали пожелтевшие от времени тетради, перевязанные выцветшей лентой.

— Каждая строка здесь надобна, сударыня, — Семевский бережно поднял верхнюю тетрадь, сдувая с нее вековую пыль. Его глаза за стеклами очков лихорадочно блестели. — Вы видите здесь домашнюю скуку, а для России это живое дыхание века. Стоит этому сун-

дуку сгнить или сгореть — и кусок нашей общей жизни исчезнет навсегда. Я не буквы спасаю, я людей из могил вынимаю.

Он осторожно развязал узел. Мелкий, бисерный почерк XVIII столетия покрывал плотные листы. На первой же странице мелькнуло имя Грибоедова.

— Посмотрите, — Семевский указал пальцем на выцветшие чернила, обращаясь к притихшей хозяйке. — Ваш дед зафиксировал разговор, который литературоведы ищут тридцать лет. История России — она ведь не в манифестах пишется, а вот в таких чуланах. И я этот сундук до столицы в целости довезу, будьте покойны.

Он аккуратно закрыл тетрадь и прижал её к груди так, словно держал величайшее сокровище империи. (прим. 16)

Благодаря этой страсти Россия впервые увидела неизвестные тексты Пушкина, Лермонтова, Гоголя, мемуары Андрея Болотова и дневники Вильгельма Кюхельбекера. Увлечение Семевского разделял и его родной брат Василий — впоследствии известный историк-народник.

Несмотря на всероссийскую славу и колоссальную занятость в столице, Михаил Иванович никогда не забывал о малой родине. Своей родной земле он посвятил обширное историко-этнографическое исследование «Великие Луки и Великолукский уезд» — труд о городе как некогда важнейшем пригороде Новгородской державы. При его непосредственном участии в Великих Луках были открыты реальное училище и женская гимназия, создано общество пособия бедным учащимся. Земляки не забыли этот вклад: 2 февраля 1884 года городская дума официально утвердила Михаила Ивановича в звании первого Почётного гражданина города Великие Луки — за труды на пользу города и просвещения края.

Отдельного рассказа заслуживает его личная библиотека — страсть, которой он оставался верен всю жизнь. Она была основана 11 июня 1855 года; уже к 1863 году в ней насчитывалось 6200 томов (2100 названий), а к концу его дней, по некоторым подсчётам, собрание разрослось до двадцати тысяч томов, разделённых на двенадцать тематических отделов: юридическая литература, география, исторические документы, записки, мемуары, письма, статистические материалы, карты, автографы известных личностей XVIII–XIX веков, семейный архив, архив самого журнала «Русская старина», коллекция портретов русских деятелей и собрание редких гравюр XVIII столетия. Великолукскому реальному училищу он подарил из неё 2818 томов и полный комплект «Псковских губернских ведомостей» за 1840–1850 годы, оставаясь почётным попечителем училища до последних дней своей жизни. Судьба же основной части собрания сложилась печально: после смерти Михаила Ивановича библиотека была по частям распродана его собственной семьёй — горькая ирония для человека, всю жизнь спасавшего чужие архивы от подобной участи.

Издательский труд требовал огромного напряжения. Семевский лично вычитывал и доводил до литературного совершенства сотни чужих рукописей, превращая корявые записки чиновников в полноценную прозу. Истощив здоровье в непрерывной работе, Михаил Иванович Семевский ушел в вечность 9 (21) марта 1892 года в Кронштадте. Его имя сегодня носит Великолукская центральная городская библиотека.



Илл. 22. Михаил Иванович Семевский. Цифровая художественная реконструкция облика историка, журналиста и издателя в рабочем кабинете (конец 1880-х гг.). Выполнена на основе прижизненного фотопортрета из центрального исторического архива.

Глава 23. Жемчужников Александр Михайлович (1826–1896)



В строю псковских администраторов и литераторов фигура Александра Михайловича Жемчужникова занимает обособленное положение. Под мундиром высокопоставленного государственного сановника, псковского вице-губернатора и действительного статского советника скрывался один из самых остроумных мистификаторов девятнадцатого столетия, стоявший у истоков создания вымышленного директора Пробирной палатки Козьмы Пруткова.

Один из будущих авторов знаменитых сатирических афоризмов родился 13 (25) июня 1826 года в деревне Павловка Елецкого уезда Орловской губернии, в семье сенатора. Образование юного Жемчужникова начиналось по привычному для дворянской среды образцу: сначала его определили в Александровский, а затем в Первый кадетский корпус. Военная карьера, однако, его не привлекла, и полный курс обучения он так и не завершил. Получив основательную домашнюю подготовку, Жемчужников окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета со степенью кандидата — в то время этот статус давали за окончание курса с отличием, что открывало право на более высокий чиновничий чин при поступлении на службу. Дальнейшая гражданская карьера шла безупречно, хотя и не блестяще: служба в Орловской и Пензенской губерниях (по другим сведениям, начальным местом службы стала канцелярия оренбургского генерал-губернатора графа Перовского), затем ревизорская работа в Министерстве финансов, должность судебного следователя. Но за этой чиновничьей биографией скрывался глубокий литературный темперамент.

В начале 1850-х годов Александр вместе с братьями Алексеем и Владимиром, а также двоюродным братом Алексеем Константиновичем Толстым сочинили Козьму Пруткова — самовлюбленного, ограниченного, но плодовитого чиновника-поэта. Из всех соавторов мистификации Александр Михайлович меньше всего считал себя профессиональным литератором, однако именно его басня «Незабудки и запятки», напечатанная в некрасовском «Современнике» в 1854 году, открыла прутковский цикл. Его перу также принадлежат «Азбука для детей», выдержки из прутковских дневников и комедия «Любовь и Силин». Итоговый том сочинений вымышленного философа братья готовили три десятилетия — он вышел в 1884 году.

Назначение Жемчужникова 20 мая 1870 года псковским вице-губернатором оживило местную общественную жизнь. Вместе с новым губернатором Михаилом Кахановым он реформировал городское управление. Жемчужников возобновил работу губернского статистического комитета, не собиравшегося четыре года, и инициировал регулярный выпуск «Памятных книжек Псковской губернии». Войдя в обновленный Библиотечный комитет, он добился перевода губернской библиотеки в просторное помещение. На заседаниях комитета было при-

нято решение о создании Археологической комиссии — прямой предшественницы Псковского археологического общества. За эту энергичную службу Жемчужников получил чин действительного статского советника досрочно.

Декабрьский вечер 1871 года в Пскове выдался морозным. В просторном кабинете вице-губернатора, заваленном ведомостями о недоимках и отчетами о сборе льна, горели свечи. Жемчужников, застегнутый на все пуговицы вицмундира, просматривал списки книг, предложенных для закупки в губернскую библиотеку. За столом напротив сидел секретарь статистического комитета, зябко поводя плечами.

— Александр Михайлович, вот еще рапорт от уездного исправника, — секретарь протянул плотную бумагу. — Просит разъяснить, по какому ведомству проводить расходы на ремонт пожарных сараев в Опочке. В инструкциях путаница.

Жемчужников взял рапорт, скользнул по нему глазами и вдруг глухо рассмеялся. Его лицо, обычно хранившее маску чиновничьей строгости, преобразилось. Он взял перо и на полях официального документа быстрым, размашистым почерком набросал строчку: «Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану».

Секретарь растерянно моргнул, силясь понять смысл резолюции.

— Это к вопросу о сараях, Александр Михайлович? — осторожно спросил он.

— Это к вопросу о чиновничьем красноречии, любезный, — Жемчужников отложил перо и с улыбкой посмотрел на собеседника. — Опочецкий исправник пишет так многословно, словно сочиняет оду. А ведь государственная служба требует краткости и... некоторого безумия. Знаете ли вы, что в Петербурге скоро выйдет трактат одного моего хорошего знакомого, Козьмы Пруткова? Он как раз рассуждает о том, что единожды солгавший кто тебе поверит. Исправнику нашему этот совет бы пригодился.

Вице-губернатор аккуратно вернул рапорт секретарю, его глаза задорно блестели.

— Ступайте, оформляйте смету. А инструкции... инструкции пишите так, чтобы в них оставалось место для здоровой иронии. Без нее в нашей губерний не выжить. (прим. 17)

После Пскова Жемчужников около десяти лет служил чиновником особых поручений при Министерстве путей сообщения, а вершиной его карьеры стал пост виленского гражданского губернатора. Уйдя в отставку, он поселился в своём витебском имении Лоберж Витебской губернии (территория современной Латвии), где занимался сельским хозяйством. Он скончался 30 апреля (12 мая) 1896 года, не дожив месяца до своего семидесятилетия. Псковская история сохранила память о нем не только как о деятельном чиновнике, заложившем основы местного краеведения, но и как об одном из создателей самой громкой литературной мистификации империи.



Илл. 23. Александр Михайлович Жемчужников. Цифровая художественная реконструкция облика государственного деятеля, литератора и одного из создателей Козьмы Пруткова в интерьере рабочего кабинета с видом на улицу Санкт-Петербурга (середина XIX в.). Выполнена на основе прижизненного кабинетного фотопортрета работы И. В. Асанова.

Глава 24. Модзалевский Лев Николаевич (1837–1896)



В кругу реформаторов русской школы Лев Николаевич Модзалевский долго оставался фигурой, сознательно выбравшей тень своих более знаменитых соратников. Поэт, историк педагогики и создатель текстов, по которым училась читать вся Россия второй половины девятнадцатого столетия, он неохотно подписывал стихи собственной фамилией. Из четырнадцати его литературных псевдонимов самым частым был «Л. Гарский» — дань памяти псковской мызе Гари.

Его детство, взявшее отсчет 26 февраля (10 марта) 1837 года, прошло в дворянской семье в Гдовском уезде Санкт-Петербургской губернии (ныне Струго-Красненский район Псковской области). Окончив историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета, он посвятил себя преподаванию. Модзалевский вел курсы педагогики в Смольном институте, словесность в 3-й гимназии, историю в Училище правоведения. Вопросы личного заработка его интересовали мало: он безвозмездно работал в Василеостровском бесплатном училище для бедных детей и организовывал курсы для народных учителей.

В эти годы сложилась его близкая дружба с Константином Ушинским. Их сотрудничество определило состав легендарной учебной хрестоматии «Родное слово», для которой Модзалевский по просьбе автора написал одиннадцать стихотворений.

1863 год. Сырой петербургский вечер проникал в кабинет Ушинского запахом невского тумана. На столе, среди корректурных листов будущей хрестоматии, тускло горела лампа. Ушинский, бледный от усталости и развивающейся болезни легких, раздраженно перебирал рукописи.

— Не то, Лев Николаевич, всё не то, — глухо произнес он, не глядя на стоявшего у окна друга. — Книге нужны стихи, которые ребенок примет без принуждения. Нам нужна природа, понятная крестьянскому сыну, а мне шлют либо тяжелые оды, либо салонную фальшь. Где взять простоту?

Модзалевский отошел от окна, подошел к столу и аккуратно положил поверх корректуры сложенный вдвое лист.

— Посмотри это, Константин Дмитриевич. Я набросал сегодня утром. Вспомнил наши гдовские леса, мызу Гари.

Ушинский взял лист, углубился в чтение. Его губы беззвучно шевелились, повторяя строки: «Дети! в школу собирайтесь, / Петушок пропел давно!..» Дочитав до конца, он поднял глаза, и на его лице впервые за вечер появилась улыбка.

— Муравей тащит ношу, пчелка летит за медом... Это именно то, Лев Николаевич. Чисто, ритмично, без лишнего умствования. Как подпишем?

— Никак, — Модзалевский мягко отвел руку друга, тянувшуюся к перу. — Пусть идет анонимно. Мое имя здесь ни к чему, пускай стихи живут сами по себе.

Ушинский покачал головой, но спорить не стал, откладывая лист в стопку готового набора. Строчки, которым суждено было стать хрестоматийными, ушли в типографию без указания автора. (прим. 18)

Лишь пятнадцать лет спустя, в 1878 году, авторство стихотворения «Приглашение в школу» было раскрыто публике в музыкальном сборнике «Свирель».

В 1866 году по личной просьбе принца Петра Георгиевича Ольденбургского Модзалевский был назначен начальником благотворительного приюта для девочек — и за короткий срок ввёл там новые методы обучения, уделив особое внимание эстетическому и трудовому воспитанию. В том же году, 17 августа, он венчался с Александрой Ивановной Константинович — брак, о котором известно немного, но который дал жизнь восьми детям.

В 1867 году началась долгая кавказская глава биографии Модзалевского. Он служил инспектором и директором Тифлисской женской гимназии, возглавлял Кавказский цензурный комитет, получил чин действительного статского советника. Несколько лет он совмещал официальную службу с обязанностями наставника детей великого князя Михаила Романова. Среди его учеников были будущий историк Николай Михайлович и управляющий Русским музеем Георгий Михайлович.

Вернувшись в Петербург в 1889 году, пожилой педагог не сбавил темпа. В 1891–1892 годах он возглавил юбилейный «отдел Коменского» при Педагогическом музее военно-учебных заведений, организовав перевод трудов чешского педагога. Памяти Ушинского он посвятил особую часть своей жизни: писал о нём статьи, публиковал его письма с собственными комментариями, готовил к изданию его труды и организовал торжественное заседание к 25-летию его смерти в 1895 году, произнеся слова, ставшие знаменитыми: «Ушинский — это наш действительно народный педагог, точно так же, как Ломоносов — наш народный учёный, Суворов — наш народный полководец, Пушкин — наш народный поэт, Глинка — наш народный композитор».

Литературная жизнь Модзалевского не исчерпывалась педагогической поэзией. В 1880 году на сцене Мариинского театра была поставлена опера «Тарас Бульба» на музыку Василия Кюнера с либретто, написанным Модзалевским под псевдонимом «Л. Гарский», — успеха постановка не имела, но сам факт говорит о широте его интересов. Другой его романс, «Слети к нам, тихий вечер...», любил исполнять великий тенор Иван Козловский.

Как учёный он оставил колоссальное наследие — фундаментальный двухтомный «Очерк истории воспитания и обучения с древнейших до наших времён», первый в России систематический труд по всеобщей истории педагогики, а также свыше двух сотен статей и книг. Он был убеждённым противником сословных ограничений в образовании и ревностно защищал чистоту русского языка — по свидетельству друга и коллеги Д. Д. Семёнова, он был «душой» недавно образованного «Союза ревнителей русского слова». При этом простым прогрессистом-безбожником он не был: считал религию важнейшей основой школьного воспитания и посвятил этому отдельный труд.

В последние годы жизни он вновь взял на себя тяжёлую миссию — с 1895 года возглавил Санкт-Петербургское училище для глухонемых детей, отдавая эту работу с полным напряжением сил. 11 мая 1896 года в училище состоялся первый выпуск; воспитанники подарили ему благодарственный адрес, и он казался совершенно здоровым. В ночь на следующий день, 12 (24) мая 1896 года, сердце Льва Николаевича Модзалевского внезапно остановилось. Похоронен он был не в столице, а на родине — на погосте Быстреево, рядом с родителями, братьями и сёстрами; могила его сохранена и по сей день посещается потомками.

Друг и соратник по Смольному институту Дмитрий Семёнов писал о нём в некрологе: «Особенного внимания заслуживает также его любовь к молодежи. Он умел понимать молодых

людей и привлекать их к труду, направленному к общественной пользе... Всегда общительный, доброжелательный, внимательный и снисходительный, Модзалевский не имел врагов».

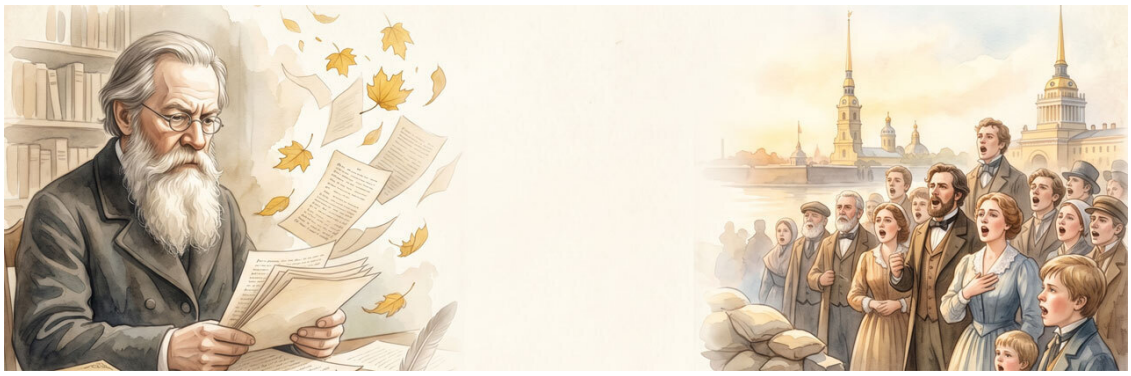
Из восьми детей известны судьбы троих сыновей, и каждая по-своему примечательна. Борис Львович стал выдающимся пушкинистом и одним из основателей Пушкинского Дома. Всеволод Львович избрал военно-морскую карьеру, участвовал в Цусимском сражении и полярных экспедициях. Вадим Львович стал историком и генеалогом. А дело Бориса продолжил его сын, внук Льва Николаевича — Лев Борисович, тоже пушкинист, чья жизнь оборвалась трагически: в 1948 году, вскоре после защиты докторской диссертации, его тело было найдено на железнодорожной насыпи — следствие установило лишь, что он ехал в одном купе с опасным попутчиком.

Истоки этого сложного, во многом трагического, но неизменно интеллектуального рода навсегда останутся в тихой псковской деревне Гари — там, где когда-то родился человек, о котором даже спустя век можно с уверенностью сказать главное: у него не было врагов.



Илл. 24. Лев Николаевич Модзалевский. Цифровая художественная реконструкция облика выдающегося педагога, детского поэта и просветителя в интерьере рабочего кабинета (вторая половина XIX в.). Выполнена на основе прижизненного графического портрета из центральных исторических архивов.

Глава 25. Лавров Пётр Лаврович (1823–1900)



В истории русской мысли трудно отыскать судьбу, сотканную из столь же явных противоречий. Потомственный аристократ, ставший кумиром разночинной молодежи; профессор высшей математики и артиллерийский полковник, превратившийся в политэмигранта и идеолога революции; суровый теоретик, чьи стихотворные строки распевала вся страна, — и вместе с тем человек болезненно зависимый от одиночества, мягкий и душевный. Корни Петра Лавровича Лаврова навсегда связаны с псковской землей.

Своими корнями биография будущего публициста уходит в родовое имение Мелехово Новоржевского уезда, где 2 (14) июня 1823 года началась его жизнь. Его отец, участник Отечественной войны 1812 года, водил дружбу с графом Аракчеевым и держал дом в строгой военной дисциплине, однако доступ к огромной семейной библиотеке и уединенные прогулки среди псковских лесов развили в мальчике редкий энциклопедизм.

Окончив Артиллерийское училище в Санкт-Петербурге, Лавров стал любимым учеником академика Михаила Остроградского. Более двадцати лет он преподавал высшую математику в военных академиях столицы. Но под офицерским мундиром билось беспокойное сердце интеллигента: он сближался с Чернышевским, входил в состав «Земли и воли» и тайно переправлял стихи в герценовский «Колокол».

После выстрела Дмитрия Каракозова в императора профессора арестовали за «распространение вредных идей» и в январе 1867 года сослали в Вологодскую губернию. В Тотьме сорокачетырехлетний ссыльный полковник встретил Анну Чаплицкую, сосланную за участие в Польском восстании. Она стала его гражданской женой и разделила с ним годы изгнания. Здесь Лавров создал книгу, действие которой современники сравнивали с ударом грома, — «Исторические письма».

1868 год. Зимний вечер в Тотьме глухо заносил снегом окна бревенчатого дома. В комнате было сыро. Сорокапятилетний бывший полковник Лавров сидел у нетопленной печи, обложившись книгами. На коленях он держал папку с плотными листами, быстро набрасывая карандашом строки будущей статьи. Анна Чаплицкая тихо подошла сзади, ставя на край стола кружку со слабым чаем.

— Ты опять пишешь, Пьер? — она мягко коснулась его плеча. — Цензура в Вологде свирепствует. Твои статьи для «Недели» и так урезают наполовину. Стоит ли тратить силы в этой глуши?

Лавров отложил карандаш, потер воспаленные от свечного нагара глаза и посмотрел на нее с удивительно мягкой, почти детской улыбкой, которая никак не вязалась с его суровой репутацией.

— Стоит, Анет. Математика научила меня, что любая сложная задача требует выверенного алгоритма. Наша интеллигенция думает, что она свободна, но её свобода куплена ценой рабства миллионов крестьян. Это долг, который необходимо вернуть. Если мы не пойдем в народ сейчас, социальное уравнение никогда не сойдется.

— Но они не поймут твоих формул, — Анна вздохнула, садясь напротив. — Крестьяне в Тотьме смотрят на нас как на чужаков. Ты говоришь о прогрессе, а они думают о хлебе.

— Именно поэтому идти нужно не с лекциями, а с готовностью служить, — Лавров вновь взял карандаш, его голос зазвучал твердо и чеканно. — Я подпишусь «Миртов». Пусть цензоры ищут чиновника или помещика. Главное — запустить мысль. Идея, Анет, — это тоже сила, способная сдвинуть массу, если расчет верен. И этот расчет я закончу.

Он вернулся к письму. В ту ночь в вологодской ссылке рождался манифест «хождения в народ», перевернувший сознание дворянской России. (прим. 19)

В феврале 1870 года Лавров бежал из ссылки в Париж, начав тридцатилетнюю эпоху эмиграции. В 1871 году он встречался в Лондоне с Марксом и Энгельсом. Показательно, что переписка с Энгельсом касалась не только революции: Лавров просил прислать ему научные труды Тайлора и Леббока для доклада в Парижском антропологическом обществе. Он увлеченно сравнивал поверья русских крестьян с первобытными культами — даже в гуще политической борьбы в нем не угасал ученый-энциклопедист.

В 1875 году в редактируемом им журнале «Вперёд!» он опубликовал «Новую песню» («Отречёмся от старого мира…»), ставшую знаменитой «Рабочей Марсельезой». Александр Блок позже называл её «прескверными стихами, корнями вросшими в русское сердце… не вырвешь иначе, как с кровью». На закате дней, разочаровавшись в терроре «Народной воли», Лавров обратился к литературной критике, резко полемизируя с толстовским непротивленчеством.

Финальная черта под его бурным веком была подведена в Париже 25 января (6 февраля) 1900 года, похоронен он был на кладбище Монпарнас. Его последние слова были обращены не к абстрактным идеям, а к близким: «Зовёт... живите хорошо. Кончается... кончилась моя жизнь».

Литературовед Дмитрий Овсянико-Куликовский вспоминал, что Лавров физически не переносил одиночества и, несмотря на свой давний атеизм, оставался натурой психологически религиозной, просто перенеся веру на социалистический идеал. Работая за письменным столом среди книг, он никогда не раздражался, если его отрывали ради партийных нужд, и с неизменным удовольствием возвращался к прерванному труду. От него веяло благожелательностью и приветливостью. Бывший артиллерийский полковник оставил пример того, как суровая революционная доктрина могла уживаться в одном человеке с почти детской потребностью в тепле и товариществе.



Илл. 25. Пётр Лаврович Лавров. Цифровая художественная реконструкция облика философа и публициста в рабочем кабинете за подготовкой «Исторических писем» (период эмиграции, 1870-е гг.). Выполнена на основе прижизненного фотопортрета из государственного историко-литературного архивного фонда.

Глава 26. Пушкарев Николай Лукич (1841–1906)



Во второй половине девятнадцатого столетия на смену утончённым аристократам пушкинской поры в русскую литературу пришло новое поколение — разночинцы с их обострённым чувством социальной справедливости. К этому дерзкому, некрасовскому направлению принадлежал Николай Лукич Пушкарев — сатирик, драматург, изобретатель и издатель.

Вопрос о месте его рождения по сей день остаётся спорным: академический биографический словарь «Русские писатели» называет Нижний Новгород, отдельные справочники — Казань, тогда как псковские краеведы связывают начало его пути (28 мая 1841 года) с селом Липец Великолукского уезда. Его отец, надворный советник Лука Антонович, по псковской версии, служил земским врачом в Порхове и входил в правление Общества псковских враче.

Первоначальное образование Николай получил дома, а после учебы в Харьковском университете перебрался в Петербург. Литературная деятельность началась в 1866 году в журнале «Будильник» и сразу обозначила его как поэта некрасовской школы. Цензурные документы констатировали крамольный смысл его стихов: автор «старается провести ту мысль, что лица, в руках которых сосредоточено земное могущество, постоянно угнетают слабых». Он владел и мастерством литературной тайнописи: в анонимном акростихе «Современные песни» первые слоги строк складывались в крамольное «Да погибнет произвол. К черту цепи и цензуру».

В 1869 году в Петербурге вышел его сборник «Стихотворения». Критика встретила его неоднозначно, но литератор Александр Круглов вспоминал о Пушкареве тепло: «Его стихотворения не броски, но задушевны и полны мысли». Для псковского краеведения особую ценность представляет стихотворение «От Дерпта до Пскова» — суровый пейзаж северо-запада, где Псков представлен как вечный символ вольности: город, что «свято чтил свободу и презирал звон цепей», переживший века, но оставшийся «как прежде величавый, высокостенный, многоглавый».

В первой половине 1870-х годов Пушкарев работал в газете «Новое время» и переводил европейские драмы, проникнутые пафосом борьбы против тирании: «Король забавляется» Гюго, «Галилей» Понсара, «Мазепа» Словацкого (последний перевод редактировал Николай Некрасов).

Перебравшись в 1876 году в Москву, Пушкарев развернул кипучую издательскую деятельность. Он издавал журналы «Мирской толк», «Европейская библиотека» и сатирический еженедельник «Свет и тени». Эти издания сыграли историческую роль: именно на их страницах дебютировал со своими первыми рассказами молодой студент-медик Антон Чехов.

В редакции журнала «Свет и тени» на Большой Лубянке пахло свежей типографской краской и дешевым табаком. Пушкарев, набросив на плечи потертый архалук, сидел за заваленным рукописями столом. В дверь нерешительно постучали, и в комнату вошел долговя-

зый молодой человек в поношенном пальто, неловко державший в руках свернутую трубкой бумагу.

— Николай Лукич, извольте взглянуть, — студент смущенно кашлянул, поправляя пенсне. — Принес несколько сценок. Для юмористического отдела.

Пушкарев принял рукопись, развернул её и замер. Взгляд его быстро побежал по строчкам. Спустя минуту он откинулся на спинку кресла и пристально посмотрел на автора. Маска привычной издательской желчности сошла с его лица.

— А ведь это чертовски хорошо, молодой человек, — медленно произнес Пушкарев. — Слог у вас легкий, а зубы острые. Как подписываетесь?

— Антоша Чехонте, — улыбнулся студент.

— Антоша так Антоша, — Пушкарев размашисто чиркнул карандашом поверх листа, отправляя его в стопку «В набор». — Живо, любезный, очень живо. У нас в «Свете и тенях» всякой хмурости хватает, а у вас смех настоящий, не вымученный. Пишите еще, я все заберу. Из вас, Антоша, выйдет толк, попомните мое слово.

Будущий великий писатель поклонился и вышел, а Пушкарев еще долго смотрел на дверь, впервые за весь тяжелый рабочий день улыбаясь без капли иронии. (прим. 20)

Пушкарев был настоящим полиматом. Он приобрёл фотоателье в доме Голицына и создал портретную галерею московской литературной среды, включая знаменитые снимки семьи Чеховых. Параллельно он занимался изобретательством — газовыми обогревателями («пушкаревскими свечами») и аппаратами пожарной сигнализации. Молодой Чехов в 1883 году не без иронии откликнулся на это в «Осколках московской жизни», назвав Пушкарева «новым Эдисоном» и заметив, что тот «много проиграет, если не разведётся со свечой и не возвратится к музе».

Однако политическая смелость сыграла с издателем злую шутку. В 1881 году в журнале «Свет и тени» появилась карикатура Михаила Чемоданова с силуэтом виселицы, намекавшая на расправу властей над народовольцами. Последовали цензурные преследования, вынудившие Пушкарева прекратить издание журналов в 1884 году. Обращаясь позже в Литературный фонд за помощью, он с горечью писал: «Я должен был выйти из дела буквально в одном сюртуке». В том же году он закрыл и фотоателье.

Последние два десятилетия жизни прошли в отчаянной борьбе с нищетой. Пушкарев брался за любую литературную поденщину, обратился преимущественно к драматургии — написал и перевёл около двадцати пьес. Некоторые исторические мелодрамы — «Ксения и Лжедмитрий» (1890), «Соломония и Елена» (1898) — дошли до столичных подмостков, хотя сценического успеха не имели. Цензура продолжала преследовать его: пьесы «Правительница Анна» (1904) и «Роза Англии» (1905) были признаны «неудобными к представлению».

Брат Чехова, Михаил, оставил тёплый портрет писателя: «Это был высокоинтеллигентный и всесторонне образованный человек… Не было актёра по всему лицу земли родной, который не декламировал бы его произведений со сцены». А сам Антон Павлович, узнав о бедственном положении своего первого издателя, в ноябре 1898 года писал Алексею Суворину: Пушкарев «был когда-то лирик, довольно нежный и чуткий, теперь же, по-видимому, состарился или износился... Мне вспомнилось то время, когда он был в Москве, был богат, — и мне стало жаль его».

В 1905 году Пушкарев безуспешно пытался издать собрание своих сочинений. Но даже в глубокой бедности, в дни Первой русской революции, он не изменил идеалам, публикуясь в сатирическом журнале «Бомбы».

Николай Лукич Пушкарев умер в нищете 14 (27) декабря 1906 года в Петербурге и был похоронен на Волковом кладбище. Он не нажил капиталов, но навсегда остался в истории человеком, воспевшим вольный Псков, подарившим русской сцене десятки переводов европейской драмы и одним из первых напечатавшим молодого Антона Чехова.



Илл. 26. Николай Лукич Пушкарёв. Цифровая художественная реконструкция облика поэта, издателя и драматурга в интерьере собственного фотографического заведения на Большой Лубянке в Москве (80-е гг. XIX в.). Выполнена на основе прижизненного фотопортрета из центральных исторических архивов.

Глава 27. Анненская (Ткачева) Александра Никитична (1840–1915)



Если Пётр Ткачёв воплотил в себе радикальную, разрушительную сторону революционного народничества, то судьба его родной сестры Александры Никитичны Анненской демонстрирует созидательную сторону того же поколения. Они выросли в одном великолукском имении Сивцево, но сделали из духа эпохи противоположные выводы. Если для брата служение народу требовало политических заговоров, то для сестры оно означало ежедневный, кропотливый просветительский труд.

Первая страница биографии Александры Никитичны Ткачёвой была открыта 11 июля 1840 года (29 июня по старому стилю). Ее детство прошло в провинциальной сельской глубинке. После ранней смерти отца имение перестало приносить доход, и мать увезла одиннадцатилетнюю Александру в Петербург. Там девочку определили в Патриотический институт, который она окончила в 1856 году. Юность будущей писательницы пришлась на бурные шестидесятые годы. Находясь под сильным влиянием брата, Александра увлеченно читала запрещенную литературу, посещала студенческие кружки и рано начала стремиться к самостоятельности. Получив диплом домашней учительницы, она открыла бесплатную воскресную школу для работниц, а вскоре связала свою судьбу с молодым публицистом Николаем Анненским, став полноправной участницей передового литературного и общественного движения столицы.

Именно поэтому Александра Анненская — фигура для русской культуры самобытная. В ней не было эмоциональной взвинченности, часто сопровождавшей увлеченных передовыми идеями женщин XIX века. Владимир Короленко, друживший с семьей десятилетиями, называл ее тепло — «тетушкой». Корней Чуковский, оставивший галерею литературных портретов современников, с удивлением наблюдал за ней на даче в финской Куоккале, отмечая ее удивительное, нерушимое спокойствие.

«Нельзя было и представить себе, чтобы она рассердилась, вспылила или хотя бы повысила голос», — писал мемуарист.

Летний полдень в Куоккале дышал нагретой сосновой хвоей и шумом близкого залива. На веранде дачного дома Чуковский лениво перелистывал журнал, когда из глубины комнат донесся грохот. Николай Фёдорович Анненский, раскрасневшийся от спора о земской статистике и крестьянских наделах, стремительно выбежал на крыльцо, дошел до крайней степени раздражения и с размаху захлопнул за собой дверь в комнату жены. Постояв несколько секунд у порога, он развернулся и в исступлении закричал:

— Открой! — экспрессивный публицист, изо всей силы ударил о косяк запертой двери. — Открой сейчас же! Я хочу сказать тебе, что я тебя ненавижу!

Чуковский замер, ожидая бурной семейной сцены. Однако из-за двери донесся тихий, абсолютно невозмутимый и ровный голос Александры Никитичны:

— Ну вот ты мне и так сказал.

Николай Фёдорович на секунду опешил, его поднятый кулак опустился сам собой. Он растерянно посмотрел на Чуковского, вздохнул и уже через полчаса мирно пил чай на веранде, бережно передавая жене сухари. Житейских ссор у супругов не бывало, они оставались неразлучными, а идейные бури всегда заканчивались мирным чаепитием. (прим. 21)

Позже, когда мужа за антиправительственные взгляды отправили в ссылку, она безропотно последовала за ним, проведя долгие годы в Вышнем Волочке, Нижнем Новгороде и Самаре, где открывала школы для бедных.

Главным делом ее жизни стала детская литература. В начале 1870-х годов на страницах журналов «Семья и школа» и «Дело» она опубликовала оригинальные повести, изменившие традиции жанра: «Чужой хлеб», «Зимние вечера», «Брат и сестра». До нее детская проза в России чаще описывала жизнь благонравных дворянских детей. Анненская первой вывела на сцену нового героя — юного разночинца. Ее персонажи — дети мелких чиновников, ремесленников и городской бедноты, которые пробивают себе дорогу упорным трудом, силой воли и честностью.

В творчестве она проявляла принципиальность, органически не терпя лжи и иллюзий, из-за чего была противницей волшебных сказок. Своим маленьким родственникам вместо вымысла она читала книги по зоологии и физике, считая, что жизнь слишком сложна, чтобы убаюкивать ребенка фантазиями.

Параллельно Анненская открывала подросткам мировую классику. Ее адаптация «Робинзона Крузо» Даниэля Дефо выдержала десятки переизданий и признается одной из лучших. Она выполнила перевод «Хижины дяди Тома» Гарриет Бичер-Стоу, сопроводив его статьей о рабстве, и познакомила юных читателей с Марком Твеном. Другая важная веха ее наследия — биографическая библиотека Ф. Ф. Павленкова, для которой в 1890-е годы она написала жизнеописания Николая Гоголя, Чарльза Диккенса, Жорж Санд, Оноре де Бальзака и Майкла Фарадея.

В ней сочетались радикальная биография и мудрая снисходительность к чужим слабостям. Чуковский описывает ее в дни тяжелой утраты: летом 1912 года, когда умер Николай Фёдорович, Александра Никитична, привыкшая быть опорой для близких, тяжело переживала горе, но старалась держаться бодро, не перекладывая страдания на окружающих.

Финал жизней брата и сестры оказался контрастным. Пётр Ткачёв, не выдержав напряжения подполья и эмигрантской нищеты, скончался в парижской психиатрической лечебнице в возрасте 41 года. Александра Никитична пережила его почти на три десятилетия. Ее спокойный и созидательный путь завершился в Петрограде 19 мая 1915 года (6 мая по старому стилю). Похоронили ее на «Литераторских мостках» Волковского кладбища в Санкт-Петербурге, рядом с мужем. Так завершился путь псковской дворянки, доказавшей, что тихое просветительское достоинство оставляет в истории след не менее глубокий, чем громкие политические манифесты.



Илл. 27. Александра Никитична Анненска. Цифровая художественная реконструкция облика писательницы на даче в Куоккале (начало 1900-х гг.). Выполнена на основе прижизненных фотопортретов из фондов истории отечественной литературы

Глава 28. Муйжель Виктор Васильевич (1880–1924)



Если тихое созидательное просвещение Александры Анненской искало для детской литературы честных и волевых героев нового времени, то наступивший рубеж девятнадцатого и двадцатого веков потребовал от авторов жесткой и бескомпромиссной правды. На смену дворянским усадебным романам пришла проза, вскрывающая язвы народной жизни. Одним из представителей этого демократического реализма на северо-западе России стал Виктор Васильевич Муйжель — прозаик, художник, журналист и земский статистик.

Место рождения писателя вызывает разночтения: псковские краеведы называют деревню Уза Порховского уезда (30 июля 1880 года), тогда как советская Литературная энциклопедия указывает на сам Псков. Спорным остаётся и происхождение его отца, Василия Ивановича: по одной версии — из белорусов, по другой — из литовских выходцев. Мать Виктора, увлечённая народническими идеями, бросила вызов сословным предрассудкам, выйдя замуж за простого конторщика имения. Именно она заложила в сыновьях основы образования. В 1889 году семья перебралась в Псков, где мальчик поступил в мужскую гимназию; позже он учился и в петербургской 8-й гимназии. Обнаружив в себе дар художника, юноша поступил в Центральное училище технического рисования барона Штиглица, однако законченного образования он так и не получил: за плечами у будущего писателя осталось лишь незавершённое среднее образование.

В 1900 году двадцатилетний студент был обвинён в политической неблагонадёжности и выслан под надзор полиции обратно в Псков. Наказание обернулось благом для литературы. Оказавшись в провинции, Муйжель служил писцом в акцизном управлении, у земского начальника, работал в земской управе и приказчиком по рубке и сплаву леса, а в итоге устроился в земский статистический комитет. По долгу службы молодой статистик бесконечно разъезжал по глухим деревням губернии, впитывая боль и нищету псковских крестьян.

Осенний затяжной дождь превратил проселочную дорогу под Порховом в сплошное глиняное месиво. Лошадь еле тащила телегу, на дне которой, укрывшись промокшим суконным пальто, сидел двадцатидвухлетний Виктор Муйжель. В кармане его куртки лежала земская статистическая книга, заполненная сухими цифрами о недоимках, падеже скота и пудах собранного овса.

Телега остановилась у покосившейся избы на окраине глухой деревни. Муйжель спрыгнул в грязь, прошел в темные сени, пахнущие сырой овечьей шерстью и печным дымом. У печи на низкой скамье сидел старый изможденный крестьянин, безучастно глядя перед собой.

— Здорово, отец, — Муйжель достал из кармана чернильницу и раскрыл книгу, пристраиваясь у крошечного, мутного окна. — Я из земства, по статбюро. Записать надо, сколько душ в избе, сколько земли, какая беда с хлебом.

Старик глухо кашлянул, не поднимая головы.

— Пиши, мил человек, чего там... Душ-то три осталось, старуха моя да девка. Двоих парней по весне тиф прибрал. Земли кошачий хвост, да и та бесплодная, в суглинке вся. Аренду платить нечем, корову за недоимки староста на прошлой неделе увел. Записывай столбиком нашу правду.

Муйжель замер с пером в руке. За сухими графами статистического отчета перед ним стояла живая, невыдуманная трагедия псковской деревни. Он медленно опустил перо, закрыл чернильницу и сел на лавку рядом со стариком.

— Расскажи толком, отец, — тихо произнес Виктор, и его взгляд художника зафиксировал каждую деталь: закопченные стены избы, дрожащие руки крестьянина, серый свет за окном. — Цифры в инстанции уйдут, а я про вашу жизнь иначе напишу. Так, чтобы в Петербурге услышали.

Старик удивленно посмотрел на молодого человека, и в его тусклых глазах промелькнуло слабое удивление. В тот вечер в глухой избе рождался не официальный отчет, а будущие суровые очерки «Псковича Темнобородого». (прим. 22)

Печататься он начал с 1903 года — с очерков в журналах «Родина» и «Природа и люди», среди которых были исторические зарисовки «Поганкины палаты в Пскове» и «Последний вечник»; ранние публикации он подписывал псевдонимом «Пскович Темнобородый». Но подлинный прорыв случился годом позже. В 1904 году Александр Куприн настоял на публикации его рассказа «В непогоду» в столичном «Мире Божьем» — суровое повествование о смертельно опасном труде рыбаков на чудских льдах принесло псковскому автору всероссийскую известность. Знакомство с Куприным переросло в долгую дружбу. Вскоре масштабные циклы Муйжеля о жизни беднейшего крестьянства начали регулярно появляться на страницах влиятельного «Русского богатства».

Современная критика встречала Муйжеля далеко не единогласными похвалами — среди рецензентов ходили и весьма едкие оценки, называвшие его язык «суконным», а прозу — «статистикой», а не подлинным писательством. Подобные суждения показывают, что при жизни автор оставался фигурой спорной.

В 1912 году Муйжель с семьёй перебрался в тихие Печоры. Именно здесь он завершил работу над двухтомным романом «Год» и создал повести «Дом на площади» и «Учительница». Спокойная жизнь оборвалась с началом Первой мировой войны: писатель отправился на передовую в качестве военного корреспондента «Биржевых ведомостей», находясь в боях в Польше и Галиции.

Октябрьскую революцию Виктор Васильевич принял как данность. Он продолжал работать: читал лекции, издавал новые рассказы, а в 1923 году выпустил пьесу «Вешний ветер». Однако годы лишений и работы на износ подорвали его здоровье.

Виктор Васильевич Муйжель сгорел от тяжелой болезни в Петрограде 3 февраля 1924 года, прожив всего сорок три года. Похоронен он был на Волковском кладбище на «Литераторских мостках». Сегодня имя Виктора Муйжеля носит одна из улиц Пскова — напоминание о писателе, который навсегда вписал голос псковского крестьянства в русскую литературу.



Илл. 28. Сюжетно-биографическая композиция «Максим Горький и молодой В. В. Муйжель в редакции журнала за обсуждением рукописи» (начало 1900-х гг.). Цифровая художественная реконструкция. Выполнена на основе прижизненных фотопортретов писателей из центральных исторических архивов.

Глава 29. Ян Райнис (Янис Плиекшанс) (1865–1929)



Полтора года на берегах Великой — срок для человеческой жизни небольшой. Однако в творческой биографии Райниса этот краткий период стал временем глубокого внутреннего сдвига. В историю мировой литературы он вошёл как народный поэт Латвии, но путь к новому поэтическому языку начинался именно среди снегов псковского изгнания. Настоящее его имя было Янис Плиекшанс, а по документам Российской империи он значился как Иван Христофорович Плекшан.

До приезда в Псков Райнис был прежде всего юристом, острым публицистом и редактором газеты «Диенас лапа» — рупора демократического движения «Новое течение». Поэзия жила в нём лишь набросками. Ещё в первой половине 1896 года, оставив редакторский пост и переехав в Елгаву, он начал труд, которому предстояло войти в историю мировой переводческой практики, — перевод «Фауста» Гёте. Но 31 мая 1897 года, после разгрома «Нового течения», поэт был арестован. Работа над переводом прервалась; узника перевозили из паневежисской тюрьмы в лиепайскую, а затем в рижскую. Первые недели заточения оказались тяжелейшим испытанием. И всё же именно в тюрьме Райнис вновь взялся Гёте, там же завершил перевод лермонтовского «Демона» и написал около сотни собственных стихотворений.

21 декабря 1897 года, ещё находясь в заключении, Райнис обвенчался со своей возлюбленной, поэтессой Аспазией (Иоганной Эмилией Лизетте Розенберг) — обряд совершил тюремный священник Келлер. В сочельник по старому стилю молодые супруги приехали в Псков, куда поэта выслали под надзор полиции в ожидании суда. «Когда мы въехали в Псков поздним вечером, была глубокая зима...» — вспоминал позже Райнис, и тогда же родились горькие строки:

«Мир в этом мире*И песнь бурана,И сон глубокий,И в сердце – рана».*

Город поэту не понравился с самого начала. «Мрачное, нищенское время... — писал он из ссылки. — Заботы, болезнь и слабость, и ничего не делается с подъёмом, радостью».

Материальная нужда преследовала супругов постоянно: сначала они жили в гостинице, затем в январе–феврале 1898 года снимали меблированную квартиру в доме Лоскутова на Великолуцкой улице, потом перебрались в дом Кирпичникова на Сергиевской улице, где, судя по надписи на конверте письма самого поэта, по соседству располагалась сливочная лавка. Именно в эти месяцы, когда неопределённость положения, безденежье и оторванность от активной жизни тяготили особенно сильно, было начато стихотворение «Старые недуги» — о том, как «заботы тусклых дней сердце обручем сдавили».

Весной 1898 года по приглашению латышского колониста Микелиса Эрглиса чета перебралась в его загородное имение на так называемой Ригиной горе, в пяти километрах от Пскова. Лето выдалось дождливым, оба супруга почти не переставали болеть — «полгода все

выздоравливаем, никак не выкарабкаемся из болезней», писал Райнис Ольге Зефельд. Именно здесь он завершил одно из самых значительных своих стихотворений — «Королевну», основанную на древней латышской легенде о замке, ушедшем под землю вместе с красавицей до рокового часа.

В середине января 1899 года Аспазия, получив приглашение от супругов Залите заведовать отделом художественной литературы в родной газете, вынуждена была уехать в Ригу зарабатывать на жизнь творческим трудом. Разлука далась обоим тяжело: «Должна сдерживать себя изо всех сил, чтобы не плакать», — писала она мужу.

21 января 1899 года Райнис покинул уединённую Ригину гору и вернулся в город — оттуда было проще ежедневно отправлять письма любимой Эльзине, как он её называл. Поселился он на квартире Качановича.

Январский ветер свистел в щелях дощатого потолка под самой крышей ветхого псковского дома. Райнис, кутаясь в поношенное пальто, сидел за узким столом, освещенным огарком свечи. Рядом лежала стопка тонких почтовых листов — очередное письмо к Эльзине. Из-за тонкой перегородки, где за глухой стеной чердака располагался хозяйский курятник, донеслось глухое, сонное хлопанье крыльев и возня.

Поэт горько усмехнулся, глядя, как пар от его дыхания растворяется в ледяном воздухе мансарды. Он взял перо, но вместо привычных юридических выписок рука сама вывела на полях латышские слова. В дверь коротко постучали, и в проеме показалась фигура жандармского унтер-офицера, пришедшего для еженедельной проверки поднадзорного.

— Живы, Иван Христофорович? — унтер окинул взглядом нищую обстановку, задерживаясь на куче старых книг. — Холод у вас тут собачий. И птица за стеной шумит. Как вы здесь спите?

— Сплю плохо, любезный, — Райнис поднялся, стараясь не выказывать слабости перед представителем охранки. — Но куры мне не мешают. Они хотя бы свободны в своем загоне, в отличие от людей. А к холоду псковскому я уже привык. Он проясняет мысли.

Унтер недоверчиво покачал головой, чиркнул что-то в своем рапорте и повернулся к выходу.

— Ну, ваше дело. Глядите только, без палки по вечерам на окраину не суйтесь, времена неспокойные.

Дверь захлопнулась, и Райнис снова остался один под аккомпанемент просыпающихся за стеной птиц.(прим. 23)

С 25 февраля 1899 года и вплоть до отъезда к месту постоянной ссылки Райнис снимал комнату в доме Постникова на углу Покровской и Губернаторской улиц. Примечательно, что псковская ссылка Райниса совпала с подготовкой всей России к столетию со дня рождения Пушкина — и здесь же, в начале 1898 года, поэт написал подробный очерк «Александр Пушкин», признаваясь позднее: «Пушкин... стал в этой первой ссылке ещё ближе даже внешне, ибо и он был в своё время сослан в ту же Псковскую губернию».

Приговор, пятилетняя ссылка в город Слободской Вятской губернии, был вынесен 31 марта 1899 года, однако официально объявили его Райнису лишь в начале июня, перед самым отъездом. 8 июня 1899 года Райнис покинул Псков; Аспазия осталась ещё на день, чтобы разобрать вещи, и больше в этот город никогда не возвращалась.

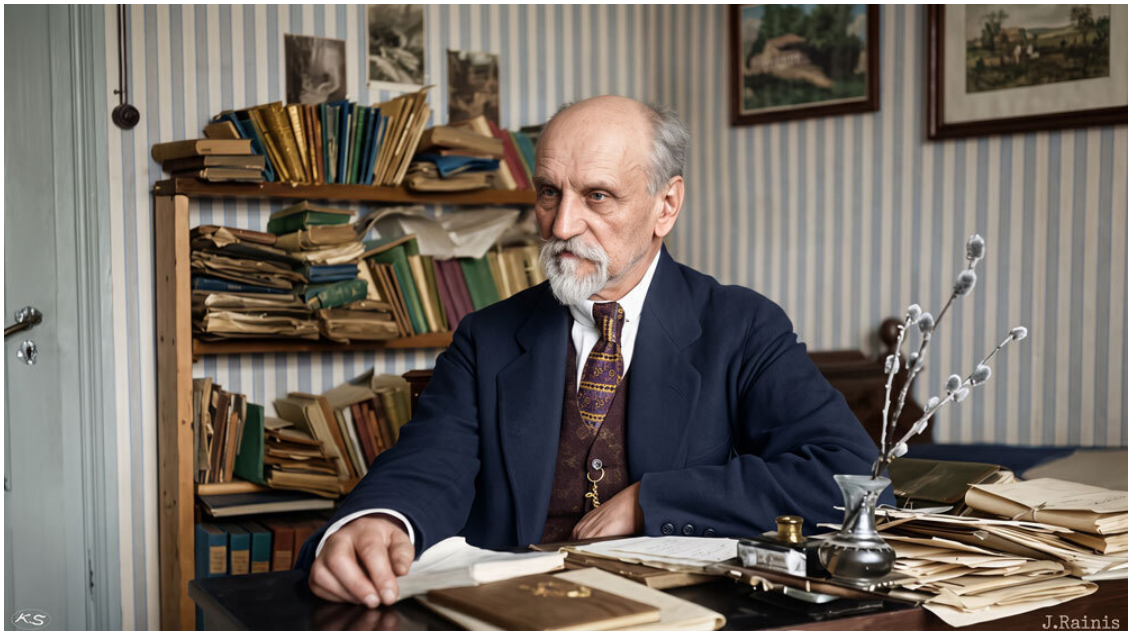
Дальнейшая вятская ссылка, ознаменованная выходом в 1903 году первого поэтического сборника «Далёкие отзвуки синим вечером», и последующая пятнадцатилетняя эмиграция в швейцарской Кастаньоле завершили духовное становление мастера. По возвращении на родину в апреле 1920 года Янис Плиекшанс занял статус ведущего культурного и политического деятеля Латвийской Республики. Он внёс значительный вклад в разработку основного закона страны, в 1921–1925 годах руководил Национальным театром, а в 1926–1928 годах занимал пост министра образования.

Жизненный путь поэта завершился 12 сентября 1929 года на даче в Майори, под Юрмалой, — на следующий день после того, как ему исполнилось шестьдесят четыре года. За три дня до смерти, 9 сентября, в гости к нему пришла девочка-школьница, в альбом которой поэт вписал свои последние строки:

«Что скажет юному старик почтенный?— Живи достойно, не пеняй на жизнь!Достичь сего ты должен непременно,Есть заповедь — любить. Ее одной держись!»

Похоронен Райнис был в Риге.

Сегодня Псков хранит память об этих полутора годах, проведённых латышским поэтом на берегах Великой. В 2006 году дом Постникова воссоздали, и 11 сентября 2008 года на нём — по адресу улица Некрасова, 38 — открыли новую памятную доску. Носит его имя и одна из псковских улиц на Завеличье. Имя латышского поэта, узника царской ссылки, стало неотъемлемой частью топонимики древнего города.



Илл. 29. Ян Райнис за рабочим столом. Рига, 1927 г. Фото Р. Йохансонса. Современная цифровая художественная реконструкция архивного снимка.

Глава 30. Анненкова-Бернар Нина Павловна (1859–1933)



В истории русской словесности рубежа веков есть имена, за внешним артистическим блеском которых скрывается судьба куда более горькая, чем кажется на первый взгляд. Нина Павловна Анненкова-Бернар (урождённая Анна Бернард) стала редким примером женщины, прожившей две полноценные жизни в искусстве: драматической актрисы императорской сцены и прозаика психологической школы. Её биография оказалась не чередой триумфов, а подлинной «горемычной» долей.

Детство будущей актрисы прошло в Пскове в семье коллежского асессора, чиновника Псковской казённой палаты Павла Бернарда. Точный год её прихода в этот мир остаётся предметом путаницы, которую создала сама героиня: документы указывают на 1859 год, но актриса при жизни называла 1864-й — обычная попытка скрыть возраст, принятая в театральной среде.

Окончив Мариинскую женскую гимназию в Петербурге, она поступила на драматические курсы Веры Самойловой. С 1880 года начались её провинциальные скитания — Вильно, Тифлис, Казань, Самара, Оренбург, — где она взяла псевдоним Нина Анненкова-Бернар. В 1889 году её пригласили в московский театр Елизаветы Горевой. Играя в паре с Мамонтом Дальским в шиллеровском «Дон Карлосе», она обратила на себя внимание столичной прессы. В апреле 1890 года Анненкова-Бернар дебютировала на сцене Александринского театра, а её игру отметил цесаревич Николай Александрович, подаривший актрисе золотую цепь. Однако в труппе Александринки отношения не сложились: коллеги и дирекция её не полюбили, и вскоре её фактически выжили из театра. Не помогло и заступничество влиятельного родственника — генерала Леонида Серафимовича.

Летом 1898 года она поселилась в Пскове, играя в летнем театре Сергиевского сада, а в мае 1899 года, на праздновании столетия со дня рождения Пушкина, читала со сцены монолог Татьяны и «Пророка». В эти же годы актриса уверенно превращалась в писательницу. Первый её рассказ «Петля» вышел в 1896 году в «Книжках „Недели“» по рекомендации актёра Модеста Писарева, с которым она состояла в гражданском браке. С этого момента она публиковалась в «Русской мысли» и «Русском богатстве», создавая очерки о людях, сломленных нуждой. Критика ценила искренность её тона, но упрекала за многословные диалоги. Максим Горький отметил, что автор направила «свой скромный талант на возбуждение добрых чувств», но не смогла передать подлинный драматизм жизни. В рассказе «Юбилей актрисы» (1896) её стареющая героиня выносит приговор театру, где актёру суждено лишь «произносить чужие глупые слова», — пронзительная деталь, предвосхитившая собственный уход автора со сцены.

Вершиной драматургического наследия Анненковой-Бернар стала героическая драма о Жанне д'Арк «Дочь народа» (1903), которая предназначалась первоначально для бенефиса

Веры Комиссаржевской и была ею одобрена, но в итоге поставлена в московском Малом театре, где главную роль в течение нескольких лет играла сама писательница. Пьеса пользовалась долгим успехом: с 1903 по 1917 год её регулярно ставили на сцене Малого театра, Суворинского театра и Театра Народного дома в Петербурге.

Зимой 1909 года она выступила уже в ином качестве — общественного критика: в газете «Псковская жизнь» резко раскритиковала Народный дом имени Пушкина за то, что тот «не служит делу просвещения народа», и именно она первой предложила ежегодно отмечать день рождения поэта в Пскове — идея, из которой позднее выросла традиция всероссийских Пушкинских праздников. В марте 1913 года она была принята в действительные члены Псковского археологического общества.

Революция застала Анненкову-Бернар в Оренбурге. Отказавшись от планов вернуться в столицу, она занялась изучением казахского языка, организовала театральную студию и написала драму «Бекет», за которую получила звание Народной артистки Казахской АССР. Однако финал её жизни оказался трагическим.

Поздней осенью 1932 года в нетопленной комнате на окраине Оренбурга знаменитая некогда актриса сидела за столом, кутаясь в потрепанную пуховую шаль. На коленях у нее стояла старая плетеная корзина, доверху набитая рукописями, пожелтевшими афишами Александринского театра и письмами. В дверь постучал режиссер местного театра Каренин, принесший в свертке немного хлеба.

— Нина Павловна, ради бога, ну нельзя же так, — Каренин опустил сверток на пустой стол и оглядел убогую комнату. — Вы же голодаете, дров нет. У вас в корзине лежат ценнейшие вещи: старинные художественные миниатюры, автографы, золотая цепь, в конце концов. Продайте их! Коллекционеры на базаре дадут хорошие деньги, вы сможете пережить эту зиму в тепле. К чему вам эти бумаги сейчас, когда есть нечего?

Анненкова-Бернар медленно подняла голову, её бледное лицо с глубокими морщинами сохранило остатки прежней царственной стати. Она крепче прижала корзину к себе, словно защищая её от удара.

— Продать? — её голос, некогда гремевший на императорской сцене, прозвучал тихо, но с прежней отчетливой артистической интонацией. — Вы предлагаете мне продать мою жизнь, дорогой мой? Эти рукописи, эти письма — все, что доказывает, что я была актрисой, а не просто стареющей женщиной в Богом забытом углу. Хлеб съедят, дрова сгорят в печке за один вечер. И что останется от Нины Анненковой-Бернар? Ничего. Пустота. Я не торгую своей памятью, даже если мне придется умереть рядом с этой корзиной.

Каренин вздохнул, понимая бесполезность спора с этой совершенно неприспособленной к суровой реальности интеллигенткой. Он молча подлил чаю, но через несколько недель сам тяжело заболел, и помощь прекратилась. (прим. 24)

Нину Павловну Анненкову-Бернар настиг паралич сердца в Оренбурге 30 июня 1933 года. После её смерти корзину с рукописями просто выбросили, как ненужный мусор.

Девочка, родившаяся на берегах Великой в тени псковских храмов, прожила жизнь, полную блеска императорской сцены, литературного признания и общественного подвижничества — но закончившуюся в нищете и забвении, и почти без куска хлеба. Для псковской земли она навсегда останется своей — и, пожалуй, самой пронзительной иллюстрацией того, что за самыми звучными именами Серебряного века нередко скрывались судьбы, куда более трагичные, чем принято помнить.



Илл. 30. Нина Павловна Анненкова-Бернар (1859 – 1933). Цифровая художественная реконструкция облика актрисы и писательницы в гримерной Императорского Александринского театра (1890-е гг.). Выполнена на основе прижизненного фотопортрета из фондов истории театрального искусства.

Глава 31. Зоргенфрей Вильгельм Александрович (1882–1938)



История русской литературы первой трети двадцатого столетия вместила в себя множество сломанных судеб. Эпоха, подарившая миру плеяду поэтов-символистов, оказалась к ним сурова. К числу полузабытых авторов отечественной словесности принадлежит Вильгельм Александрович Зоргенфрей — переводчик-полиглот, тончайший лирик и человек, которого Александр Блок в своей записной книжке 28 июня 1916 года назвал в числе немногих действительных друзей — наряду с Евгением Ивановым, Александром Гиппиусом и Владимиром Пястом.

Биография будущего поэта взяла свой отсчет 30 августа (11 сентября) 1882 года в бессарабском Аккермане. В его жилах переплелись две культуры: отец, военный врач, происходил из лифляндских немцев, а мать принадлежала к древнему армянскому роду. Ранняя смерть отца изменила судьбу мальчика. Сироту забрал на воспитание дядя — известный псковский провизор Густав Иванович Зоргенфрей, владелец «Старой аптеки» с заведением искусственных минеральных вод. Согласно документам Государственного архива Псковской области, аптека и жилое помещение семьи располагались на углу Сергиевской и Пушкинской улиц, в тени старинной церкви Василия на Горке. Этот дом стал для впечатлительного юноши первым интеллектуальным приютом. В 1896 году Густав Иванович умер, и дело перешло к его сыну, провизору Отто Зоргенфрею, так что отрочество будущего поэта прошло под опекой двоюродного брата.

В августе 1891 года мальчик переступил порог подготовительного класса Псковской мужской гимназии. Он рос одарённым: увлёкшись поэзией в раннем детстве, уже в девять лет Вильгельм начал писать собственные стихи. Гимназические годы раскрыли в нём и актёрский талант. Местная пресса восторженно отзывалась о школьных театральных вечерах, прошедших на масленичной неделе 1899 года. Рецензенты отмечали, что в постановке сцен из «Бориса Годунова» юный Зоргенфрей глубоко воплотил на сцене образ Александра Пушкина.

После окончания гимназии в 1900 году Зоргенфрей уехал в столицу, где выбрал неожиданную для поэта стезю — окончил Технологический институт. Получив инженерное образование, Вильгельм Александрович сочетал преподавание точных наук и службу в Министерстве торговли и промышленности с увлечением литературой. Образ строгого, дисциплинированного чиновника контрастировал с его подлинным призванием. В 1905 году он вошел в литературную среду, опубликовав стихи в символистском журнале «Вопросы жизни». Позже его поэзию принимали такие издания, как «Золотое руно» и «Русская мысль».

Став столичным интеллектуалом, Зоргенфрей не обрывал связей с городом своей юности. Он регулярно приезжал в Псков, читал стихи на молодёжных вечерах. 29 декабря 1907

года губернская газета «Псковская жизнь» напечатала под криптонимом «З-ей» его стихотворение «Сердце еще не разбилось…», ставшее своеобразным жизненным манифестом автора.

Главным событием в жизни Вильгельма Александровича стало знакомство с Александром Блоком в 1906 году, переросшее в глубокое духовное родство. Блок доверял псковскому воспитаннику сокровенные мысли и посвятил ему одно из самых провидческих своих стихотворений — «Шаги Командора». Зоргенфрей платил кумиру абсолютной преданностью. Свою единственную авторскую книгу стихов, названную «Страстная суббота», он впоследствии посвятил памяти безвременно ушедшего друга.

В мае 1921 года петроградские вечера были холодными и голодными. В полутемном кабинете Блока на Офицерской улице пахло лекарствами и пылью. Тяжело больной поэт, укутанный в плед, полулежал в кресле, прикрыв глаза. У стола под лампой, бережно перелистывая листы немецкого подлинника, сидел Зоргенфрей. Они вычитывали чистовые гранки перевода трагедии Гёте «Торквато Тассо», предназначенного для издательства «Всемирная литература».

— Послушай, Саша, как вышло у Клейста, — тихо произнес Зоргенфрей, переводя взгляд на друга. — Я долго искал эквивалент для монолога Антонио, помнишь? «Где мера человеку? В нем самом...» Мне кажется, в русском тексте нельзя допустить ни малейшей утечки образов, иначе разрушится вся строгая геометрия мысли Гёте.

Блок медленно открыл глаза. Его взгляд, некогда отрешенный, на мгновение стал пронзительно ясным. Он посмотрел на Зоргенфрея с грустной, дружеской теплотой.

— У тебя всё хорошо, Вильгельм, — голос Блока звучал глухо, но твердо. — Твой слог точен, как математическая формула. Помнишь, ты рассказывал про окна вашей старой псковской аптеки у Василия на Горке? Мне всегда казалось, что твоя поэзия выросла из тех аптечных весов, где точность — это вопрос жизни и смерти. Лирики у нас много, а вот рыцарей точности, способных удержать слово в железных тисках формы, почти нет. Ты удерживаешь.

Блок тяжело вздохнул, его рука бессильно опустилась на подлокотник.

— Береги эту точность, Вильгельм. Время идет страшное, расхлябанное, оно будет крушить все смыслы. Нам с тобой суждено остаться свидетелями Страстной субботы, когда старый мир уже умер, а воскресение еще не наступило. Держись за немецкую строгость, когда меня не станет.

Зоргенфрей молча склонился над рукописью, делая пометку карандашом на полях. В ту ночь в выстуженной петроградской квартире за сухими филологическими спорами двух поэтов стояло осязаемое предчувствие близкого финала всей их эпохи. (прим.25)

После революции бывший чиновник нашел спасение в художественном переводе. В издательстве Максима Горького «Всемирная литература» он проделал огромную работу, переведя на русский язык шедевры Стефана Цвейга, Томаса Манна, Генриха Гейне и Генриха фон Клейста.

Но спрятаться от эпохи в тишине переводческого кабинета оказалось невозможно. В 1938 году Вильгельм Александрович был арестован по «ленинградскому писательскому делу». Выездная сессия Военной коллегии Верховного суда СССР вынесла смертный приговор, и 21 сентября 1938 года переводчик был расстрелян. Реабилитировали его в 1958 году.

Сегодня один из редких экземпляров сборника «Страстная суббота» хранится в Региональном центре редких книг Псковской областной библиотеки — симметричное завершение судьбы: книга, посвящённая памяти погибшего друга, вернулась на родину автора, туда, где мальчик, полюбивший стихи в раннем детстве, впервые взял в руки перо.



Илл. 31. Вильгельм Александрович Зоргенфрей. Цифровая художественная реконструкция облика поэта и переводчика Серебряного века за работой над переводами немецких классиков в петербургском кабинете (начало XX в.). Выполнена на основе прижизненного фотопортрета из центральных исторических архивов.

Глава 32. Семенов Борис Константинович (1894–1942)



Есть биографии, которые читаются как обвинительный акт эпохе. Жизнь Бориса Константиновича Семёнова — именно такая. В ней есть всё, что двадцатый век умел делать с людьми: война, плен, эмиграция, подполье, арест, тюрьма, смерть в камере. И при этом — стихи, фольклорные экспедиции, деревенские хоры на сценах Таллина и Тарту, ночные переходы по раскисшим дорогам к просветительским обществам в глухих эстонских сёлах. Обе эти реальности существовали в одном человеке одновременно, и именно это делало его судьбу не просто трагической, но подлинно человеческой.

Первые страницы его жизни были написаны в Пскове 24 февраля 1894 года, где он рос старшим из шести детей купца, торговавшего мануфактурными и галантерейными товарами на Петропавловской улице. Своего дома у семьи не было, приходилось снимать квартиры. Через четыре дня мальчика окрестили в Петропавловском соборе — той самой церкви Петра и Павла с Буя, что стоит в Пскове по сей день. В 1904 году Бориса приняли в Псковское Сергиевское реальное училище, а в 1912-м он был зачислен на юридический факультет Петербургского университета.

Дальше — 1914 год, и всё это перестало иметь значение.

В ноябре студент-юрист оставил университет ради петроградского Владимирского военного училища. Окончив ускоренный курс, в мае 1915 года прапорщик Семёнов принял командование ротой 168-го Миргородского пехотного полка. А уже в августе — ранение под польской Влодавой и немецкий плен.

Плен растянулся на несколько лет и оказался историей отдельной и горькой. Лагерь в Нейссе, лагерь в Меве, попытка побега в мае 1916-го — новое ранение и полгода крепостного заключения в Глатце. Потом форт Цорндорф в Кюстрине, протест против унизительных обысков, снова Глатц. В январе 1919-го — лагерь для интернированных в Зальцведеле. Четыре года, которые многих сломили бы окончательно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.